

84Р7 (2Р-4Кем)

Л-64

ISSN 0235-7976

ЛИТЕРАТУРНЫЙ

3.1990 **КУЗБАСС**



84P7
164

ЛИТЕРАТУРНЫЙ № 3 (109) КУЗБАСС

Год издания 42-й

Выходит
ежеквартально

ОРГАН КЕМЕРОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

Редактор:
Владимир МАЗАЕВ

Редакционная
коллегия:

Виктор БАЯНОВ

Сергей ДОНБАЙ

Геннадий ЕМЕЛЬЯНОВ

Валерий ЗУБАРЕВ

Александр КАЗАРКИН

Валентин МАХАЛОВ
(отв. секретарь)

Любовь НИКОНОВА



390872

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

- Геннадий Руднев. Святопредставление. Повесть . . . 3
Владимир Мазаев. Без любви прожить можно. Рассказ 46
Михаил Орлов. Иринарх. Рассказ 54

ПОЭЗИЯ

- Александр Раевский. Тайна. 1920 год. Колчаковец. Деви-
чий куст. Цветок подземелья 44
Духовный мост. Любовь Никонова. «Над темной пропастью
огромной...». «Только крест на груди...». «Я считала, что
больше не будет...». «Природа времени нам лишнего не
даст...» Николай Колмогоров. «Храм, не храм, а как будто
бы облако...». «По долинам, лугам половодье идет...». «
Древний город, забытая быль...». Лицо. «От странной
мысли вздрогну иногда...» 51
Иван Полунин. «Где пылали вчера снега...». «Скосить бы
мне...» 62
Михаил Небогатов. Светлое будущее. Насчет пенсий. При-
снилось мне 63

Индекс 707706

Кемеровское
книжное
издательство
1990

Адрес редакции:
650099, Кемерово, 99
проспект Советский, 40
Тел. 26-85-14

Александр Казаркин. Исповедь. Рассказ.	64
Владимир Переводчиков. Дверь открывается в обе сторо- ны. Записки экстрасенса.	72
Владимир Щербак. В книге жизни — послание из космоса?	
Вела беседу З. Островская.	92

Редакция рукописи
не рецензирует,
а только сообщает
о своем решении.

Рукописи объемом менее
двух авторских листов
не возвращаются.

Ведущий редактор
Т. И. Махалова
Художественный редактор
В. П. Кравчук
Технический редактор
Г. Н. Манохина
Корректор
С. А. Мазаева

**ПЕРВЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



На первой стр. об-
ложки: В. В. Громов.
«Стол в мастерской». х., м.

На четвертой стр.
обложки: В. В. Громов.
«Агаповны». х., м.

Сдано в набор 16.04.90. Подписано к печати 02.07.90. ОП05517. Фор-
мат 70X90^{1/8}. Бумага офсетная № 2. Печать высокая. Усл. печ. л.
7.02. Усл. кр.-отт. 7.75. Уч.-изд. л. 8.72. Тираж 5500 экз. Заказ № 2105.
Цена 50 к. Кемеровское книжное издательство. Кемеровский поли-
графкомбинат. Адрес издательства и типографии: 650059, г. Кемерово,
ул. Ноградская, 5.

Л 4702010200—26 90
М 145(03)—90

© Коллектив авторов этой книги, 1990

Геннадий Руднев

СВЯТОПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ПОВЕСТЬ

На изломе пересыхающего русла когда-то полноводной, а теперь расплесканной по торфяникам реки, в междудесье, по-нагоре спал мертвым сном Богатырь, по плечи вогнанный в сырую землю. От времени он и сам покрылся землей, на этой земле успели вырасти трава и деревья, а на плечах его люди на первую сотню лет строили дома.

Богатырь спал. Острые его шлема, покосившееся от страшного удара, упрямо показывало в высокое небо. А если кто и думал, что это купол полуразвалившейся церкви, так только не я. Я знал, что дом наш стоит на самом больном месте Богатыря. Это плечо было всажено в землю гораздо глубже другого, и, если смотреть на реку от церковных ворот, то получалось, что удар пришелся ему именно сюда.

Соперник его был левша. Видно, это Богатыря и обмануло.

Я никому не рассказывал о своей догадке. Но с тех пор ступал по земле перед крыльцом осторожно, стараясь не причинять спящему лишней боли. Ведь и мертвый сон — всего лишь сон. Да если даже и смерть — по могилам ходить не принято.

В нашей же Алатеевке по нему ходили все кому не лень. И я их не обвинял. Я тоже был в числе оскверняющих по необходимости, потому что летать научился гораздо позже, после первой Грозы.

А до этого...

До этого были грачи.

Огромная колония черных птиц, какой-то особенной, укрупненной породы, сели-

лась каждую весну по верхушкам старых берез, вышедших из леса и кольцом опоясывавших пруд перед нашим домом. Пруд был небольшой, но очень глубокий, знаменитый своими утопленниками. Торфяное дно его местами проваливалось, поэтому купаться в нем было опасно. Весной, как раз после прилета грачей, он переполнялся талой водой. Избыток ее нехотя переваливал через высокую плотину, а уж там бешено улепетывал по ложине к реке.

Как-то воды было так много, что плотину сорвало, она унесла с собой всю оставшуюся воду из пруда, и, когда чуть подсохло и дыру приехал латать бульдозер, я увидел эти провалы на дне. Торф горит под дерном, водой его сразу не погасишь. Это мне тракторист сказал, дядя Володя, он, когда выпьет, любит со мной поговорить. Только я это знал. Меня тогда другое интересовало: грачи. У них уже вторую неделю был «рыбный день». Птицы легче людей. Они безопасно бродили по высыхающему илу и со шлепками выковыривали оттуда глупых рыбешек. Грачей было так много, что красноватое дно почернело от их шевелящихся блестящих перьев. Их было — как мух на падали. А от непрерывного карканья едва было слышно работающий бульдозер. Каждый крик глубокая яма пруда трижды отражала эхом. Тогда я их и возненавидел.

За ненасытность, за карасей, за собственную зависть к ним же, а больше всего — за потерянную с прудом половину лета. Того лета, которое еще не началось,

которое начнется тогда, когда я сниму валенки. Сапоги мне носить нельзя — у меня ревматизм. Весной в дождь я надеваю валенки с калошами, в снег — без калош. Мне четырнадцать лет. Ходить на реку в валенках, через всю деревню, мне стыдно. Поэтому я ходил на пруд. Я считал его своим, — ближайший порядок начинался метров за триста от нашего дома, но и его по дороге в школу я обходил огородами. Не только из смущения — собаки меня терпеть не могли.

Я мал ростом, большеголов и зеленоглаз. К вечеру мне досаждают ноги, утром и днем — угри на лице. Оттого я и люблю ночь, тепло постели и темноту. Ночью мне нечего стыдиться, я свободен, защищен и волен летать, где мне вздумается. Но это было потом. Сначала — грачи...

Я долго смотрел на них, так долго, что меня стошнило. Со дна вслед за грачами поднималось зловоние, вероятно, снулая рыба кое-где начинала разлагаться. Отершись рукавом, я поднялся по крутой тропинке прочь от пруда. Упал, перепачкался в грязи и кое-как доплелся до дому.

«Помилуй мя, господи! — встретила меня бабка и перекрестилась. — И где ж это ты так измудыкался? На пруде?»

Я ей тогда в рифму ответил, потихонечку, чтоб не услышала. Да, видно, плохо постарался.

«Фуфайку-то сними, небось в избу входишь, не в катух», — сказала она совсем другим голосом и ведрами в чулане загремела.

С некоторых пор мы часто с ней так разговариваем. Живем мы вдвоем. Мать — в городе со своим хахалем, который всего на пять лет младше бабки, а ей уже за семьдесят. Бабкина уличная фамилия Чемодурова, я — Ильин, а по-уличному — Чмо. Это сокращенно от Чемодурихина внука. Мамкин хахаль — не мой отец, мой — летчик, который разбился. А похорошему, так врут они все, и разбился он, как и второй мамкин муж, — об бутылку.

Отца я не помнил. Вернее, очень плохо

помнил: что-то большое, шершавое и почему-то холодное, как нетопленная печь. Именно так. Нетопленная печь не только избу не греет, а еще хуже — студит. Но, какая бы она ни была, без нее в доме пусто.

Раздеваться я не стал. Отпихнул ногой визгнувшего котенка от молока, взял его консервную банку и нарезал из жести треугольников. Потом скрутил их конусами, растопил в ложке свинец и, капая в них как в воронки, залил наконечники для стрел. Оставалось только их обточить, вставить в каждый по сухой камышине с крыши двора и — стрелы готовы. Лук к тому времени у меня был знаменитый, из молодого дубка, с тетивой, плетеной конским волосом. Я стягивал концы проволокой, чтобы ее натянуть, и пущенная из него стрела входила в бревно на полтора сантиметра. Если не промахнуться. Грачей же она прошивала насквозь — я уже пробовал.

Спускаться к пруду не было необходимости. Верхушки берез располагались ближе к дому, чем к корням, которые упирались в дно лощины. Я остановился на взгорке. Отсюда все было видно, как на ладони: деревья в зеленоватой дымке, птицы, гнезда и копошащийся бульдозер. Стрелял я сверху, влет, так было интересней. Грач расправлял крылья и притормаживал, идя на посадку. Я брал чуть ниже, выпускал стрелу и следил за ее полетом. Редко какая из птиц успевала увернуться.

Стрел осталось совсем немного, когда я, решив бить наверняка, сменил место ближе к плотине. Здесь грачи, как елочные игрушки, неподвижно лепились на ветках крайней березы. Самые сытые.

Для точности я воткнул лук в землю, одной рукой уперся в верхний его конец, а другой что было сил оттянул тетиву со стрелой. Прицелился. Выпустил.

Чиркнув по ветке, стрела мгновенно изменила направление и юркнула вниз, к земле.

Я видел, как она влетела в окошко ка-

бины. Бульдозер в это время сдавал назад.

Медленно открылась дверка, боком, как-то наискось вывалился оттуда дядя Володя и поехал вместе с гусеницей под трактор...

«Помилуй мя, господи!» — испугалась бабка, увидев меня в дверях. Я подошел к рукомойнику и взял мыло. Погремев соском, я тщательно намылил руки, но, когда они все покрылись грязноватой пеной, вода кончилась. Уставившись на них, я долго соображал, что же мне дальше делать, пока не догадался сполоснуть их прямо в тазике с помоями. В пальцы попало что-то скользкое, мне стало мерзко, и меня начало тошнить...

Очнулся я на лавке от резкого запаха. Бабка совала мне в нос тертый хрен.

«Вот пропасть-то, чевой-то это, а? Нучек... — причитала она, всматриваясь в меня так, будто ни разу не видела. — Съел чеве? Молочка вот хлебни, прочистись».

«Бабунь, — схватился я за кружку. — Я, бабунь, дядь Володю... Убил».

«Обил? — Она плескнула мне на руку молоко. — Как обил? Игде?»

«Там...»

«Тама? Обил... — и слово провалилось в ее беззубый рот. Она наконец поняла. Перекрестилась: — Помилуй мя, господи», — и отвела потухшие глаза.

Я смотрел на нее: дряблая челюсть крупно дрожала, будто переваривая услышанное.

К разлитой на полу молочной лужице осторожно подошел полосатый котенок и начал лакать. Щелканье его языка было слышно на всю избу.

Высохшая голова бабки все глубже входила в плечи. Я испугался, что она может пропасть совсем. Я испугался остаться один и заговорил:

«Я, бабунь, в грачей стрелял, не в него... ты не подумай... А потом смазал, вижу: он прям на гусеницу вываливается и... Ой, бабуня! А трактор — по нему и прямо в пруд, в яму, задом... Ы-ы», — и я завыл.

Бабкина голова неожиданно вынырнула из плечей.

«А, може, не ты... — крадучись, проговорила она. — Може, пьяный он-то?»

«Вы-ы-ышимши».

«Видал?»

«Ви-идал. Ы-ы...»

Бабка закричала, поднимаясь с коленей.

«Пошли», — сказала она мне чуть слышно, но взглянула так дико, что я невольно подчинился.

На взгорке, где я начинал охоту, мы остановились.

«Игде?» — скрипнула она мне. Я махнул рукой.

Бульдозера на дне пруда не оказалось. След гусениц был виден сходящим с края плотины, изредка по нему попадались грязно-розовые, с обрывками ваты и материи куски. Остальное, вероятно, попало под лопату и было унесено вслед за машиной. Там, где след выползал на ил, хозяйничали грачи.

«Помилуй мя, господи», — причитала бабка, шевеля палочкой облохмаченные клоки на гусеничной колесе. Я, как замороженный, волокся за нею, стараясь глядеть только на хлястик ее фуфайки. Мы двигались в гору, земля становилась все ближе к глазам. И я не выдержал. Тошнота вновь вывернула меня всего наизнанку, я отошел в сторону и, опершись рукой о березовый ствол, согнулся.

У моих ног лежала оторванная голова.

Из уха торчала обломанная камышина.

«Ба-а!» — заорал я и кинулся к бабке. Прижался. Меня трясло.

«Тише! Тс-с!» — прошипела она, как змея, и оторвала от себя мои руки. — Игде?»

Я показал.

«Помилуй мя, господи!» — это она подошла к ней. Сняла фартук. Нагнулась...

Закопали мы голову у старой риги, под ветлой, тоже очень старой. В трещину ее коры полностью входила ладонь.

В ту весну я долго болел. Бабкины притирания и заговоры не помогали, фельд-

перица долго упрашивала вызвать мою мать — я слышал об этом с печи — или отвезти меня в район, в больницу.

Бабуня же медлила. С вечера она становилась на колени перед иконой и, пришептывая, молилась. Я видел, она молилась о прощении и с каждым днем клала все больше поклонов перед нарисованным ликом. Боженька ее, видно, не слышал: мне становилось хуже день ото дня, а когда я сам уже не смог слезть с печи на ведро в чулане и попросил ее о помощи, бабуня тихо заплакала. Кое-как я забрался назад, но так и не уснул, слушал ее свистящий шепот всю нестерпимую длинную ночь. Мне чудились всякие страхи, от боли кружилась голова, и язык набухал во рту, становясь шершавым, как наждак. Печь казалась обжигающе горячей, хотелось пить, но спросить воды я не решался. Я боялся ее отвлечь. Тогда я почти поверил, что она делает что-то очень важное, главное для меня, и что именно от этого зависит мое выздоровление.

Но пришло утро, а мне не стало легче. Взглянув в мое лицо, бабуня вздохнула и куда-то ушла потом.

В тот же день меня отвезли в больницу.

Моя мать — большая сытая женщина с румянцем во всю щеку. На нижней губе у нее — шрам, подкрашенный морковной помадой. Бабка говорила мне, что это — метка моего отца, вернее, его кулака. О той ссоре она больше ничего не рассказывала, но, глядя на мать, на ее улыбку и будто бы налитое здоровьем лицо, я догадывался, за что ее можно было ударить.

Вот и в больницу она пришла с этой своей улыбкой, с огнем на щеках, от которого загорелись глаза лежащих в палате мужчин.

Мне всегда было неудобно разговаривать с матерью, особенно при посторонних. У нее звонкий голос, голос диспетчера на железной дороге. Слова отлетают от ее

полных губ как бы произвольно и звенят так, будто камнями бьют по пустому ведру.

Еще вокруг нее всегда густой, устойчивый запах, неизменно сладковатый, даже приторный, и каждый раз по-новому чужой. Тем не менее спутать ее с кем-нибудь было трудно, и я даже сам с закрытыми глазами ощущал ее присутствие. Есть такие люди, не замечать которых невозможно. Входя, они всех теснят, а точнее вытесняют. Такие люди не навязывают себя, от них это не зависит. Пространство само сжимается и уступает им место.

Она села на стул рядом с кроватью, спросила: «Ну, как?» — и зачем-то еще раз улыбнулась.

«Вот так», — ответил я ей.

Долго, долго смотрела она в мои глаза, потом начала перебирать пальцами по авоське с яблоками, шрам на ее губе запрыгал, и в одну секунду из глаз ее посыпалось с десяток слезинок, крошечных и бесцветных, но таких же круглых, как и шарики алых бус, окладом лежащих на высокой груди.

«Да ладно, — хотел успокоить я ее по-мужски и усмехнулся, так, будто вчера ночью не орал от боли. — Хорош мокроту разводить».

«Не буду, не, не буду...»

Мать затрясла головой и вытерла слезы.

«А мы вчера в деревню приехали: где Шурик? А бабка: в больнице, говорит, уж неделю в больнице. Это надо же! — мне, значит, ни слова, ни полслова. А ты — вот, значит, где, мальчик мой, Сашенька... Как же ты? А?»

«Да вот так».

Она опять всхлинула, сбросила авоську на пол и встала перед кроватью на колени.

«Сыночек, миленький, ты уж прости меня, прости! Не знала я, ох, не знала, мой хороший, что ты вот туточки... Дай-ка я тебя поцелую», — ее полные ладони обхватили мое лицо, а мягкие, безвольные

губы принялись пощипывать рыжую челку. Причитая, мать облепливала меня поцелуями, горячо дышала в нос. И тогда я узнал этот запах.

«Худой-то, худющий! Я этой Чемодурихе — я ей все волосы повырву, собаке! Довела, довела-то! Уморила старая трясуха сыночку!»

«Уйди! Пшла!» — оттолкнул я ее.

«Ты чего, мой миленький? Чего?»

«Напилась! Успела? Да? Успела!»

«Да я — что ж? Да мы с приездом давеча... В деревне еще... И Егор Иваныч... Ты уж не кричи так, Сашенька, мы ведь малость совсем».

«Уходи отсюда! Бабушку — собакой? Сама собака! Пьянь! И хахаль твой — пьянь! Пшла!»

Меня затрясло, я кричал.

А мать все лезла со своими руками к лицу, пока ей кто-то не посоветовал, тоже криком, оставить меня в покое.

Ночью я грыз теплые яблоки. Толстая, жесткая кожура скрипела на зубах, как бумага. Середина была безвкусной.

Я плакал.

Долгие больничные дни...

Никогда я не чувствовал себя таким одиноким.

Холодно блестящая спинка кровати, нежилой запах ломкого крахмального белья, чужие тапочки и каждый день водянистая картошка с бледно-зеленым полумесяцем соленого огурца и остывшей котлеткой набочок. Этот день начинался с солнечного пятнышка на синей с гляncем стенке, потом пятно перемещалось наискось по кровати соседа, увеличивалось и к обеду заполняло всю палату. Матовое стекло двери в коридор снежно искрилось, и даже в середине дня, в тепле и солнце, меня знобило от этого холодного свечения, я закрывал глаза и снова погружался в боль, но утешиться ею мне не давали. Приходила сестра, чтобы отвести меня в процедурную («просто дурную», «дурную»), и там она делала мне еще больней. Я слышал,

другие ей говорили: спасибо. За что? И о чем после этого было с ними разговаривать?

Я ненавидел ее, ее короткий халат, ноги, твердую на вид грудь и мягкие, но такие коварные пальчики.

Вечером палата темнела от оранжевого к спасительному нежно-фиолетовому. Но всем вокруг меня этого не хотелось. Они зажигали свет, доставали из своих тумбочек домашние пирожки — я любил пирожки с печенкой — и начинали меня жалеть. Они жалели меня до тех пор, пока не съедали всё до крошки, залив последнее вишневым соком. Но и про вишневый сок, как и про пирожки, я им тоже ничего не говорил. Я терпеливо ждал своего часа, темноты. И когда сосед справа от меня начинал тряско опробовать свою носоглотку, я, стараясь попадать с ним в унисон, стонал. Сначала от боли, а позже — от безысходного одиночества.

Мне говорили, что во сне я зову бабушку. Почему? Ведь мне каждый раз снилась мама.

Легкость пришла внезапно, среди ночи. В палате все спали, когда я открыл глаза, нет, когда глаза у меня сами открылись и я встал на ноги. Подошел к окну. Был май, луна, на тополях — крохотные мазки мясистых листочков, во дворе — белые бордюрины и хрустальная трава. Икры моих ног чуть покалывало, будто они долго находились в неудобном положении, а сейчас, именно сейчас к ним приливала кровь, наполняя их легкой влагой. Кровоток гудел во мне, как, вероятно, соки гудели в тех тополях за окном, и хотелось пробежать этак на носочках по ободку той самой белой бордюрины, свернувшейся змеей вокруг больничного газона.

Еще не веря в случившееся, я нагнулся; запустил пальцы под пиджамные брюки и начал ощупывать себя от циклоток и выше. Собственные прикосновения показались мне нестерпимо щекотными, однако пальцы не унимались, массируя здо-

ровую — я чувствовал это! — ткань ноги с крепкой, белоснежной, в розовых прожилках косточкой. Я стукнул пяткой о пол. Опять стукнул уже другой ногой и засмеялся.

«Ах ты!» — крикнул я.

На кроватях заворочались больные.

«Ах ты!» — гаркнул я еще громче и пошел, пошел впрысдку по палате, хохоча под собственные частушки:

Ах ты, курва, все поела пышки!

А теперь ты, курва, пляшешь без одышки!
И-е-эх!

Им больше ничего не пришло в голову, как насильно уложить меня на койку и вызвать дежурную. Ею оказалась та самая молоденькая медсестра.

Я, помню, сопротивлялся их рукам и кричал по-уличному, как на овец: «Кыря! Родимец вас раздери...» Но когда вошла сестричка, меня смех разобрал от ее заspanной и одновременно перепуганной мордашки. Между взрывами хохота я звал ее к себе: «Иди сюда, пощупай! Я люблю, когда ты меня щупаешь!» И вообще я молот вздор. С языка, так же как и с ног, сорвался какой-то камень, и я вольно выговаривал словесные нечистоты, ничуть не стыдясь собравшихся вокруг меня людей. Наверное, я перешел на матерщину, потому что последнее, что я запомнил, это как в меня насильно влили какое-то сладковатое лекарство, и сознание меня оставило...

Утреннюю пшеничную кашу и кипяченое молоко я проспал. Они остывали у меня на тумбочке. Вероятно, шло время процедур — в палате было пусто. Я мигом проглотил чуть теплый завтрак, но этого мне показалось мало. Тогда я открыл соседнюю тумбочку, где у соседа по койке калачиком свернулась отличная копченая колбаса. В другой тумбочке я нашел пирожки, еще в одной — компот. За какие-то минуты с ними было покончено. Потом я вспомнил, что под матрацем, справа от моей постели, лежит трикотажный костюм, в котором владелец копченой

колбасы ходит в ночь с субботы на воскресенье в «самоход», и, хотя рукава оказались мне длинноваты, я не расстроился, закатал их повыше и забрался на подоконник.

Никаких колебаний по поводу высоты, — а палата располагалась на третьем этаже, — асфальтовой дорожки внизу и толстых суков тополей, — никакого страха или сомнения у меня не возникло. (Нет — тапочки! Я помню, что снял тапочки и поставил их рядом с собой.) Присед — толчок — взмах руками и полет! Короткий и точный. Я даже взял немного высоко: пролетая над больничным забором, я миновал его и приземлился (конечно же, притормозив руками, как те самые грачи крыльями) на противоположном от забора тротуаре. Приземляться по-настоящему я еще не умел (как — пришло позже, после первой Грозы), поэтому завалился немного набок. Но это меня не смутило. Отряхнувшись, я пошевелил пальцами ног, высморкался и не спеша двинулся к автобусной остановке.

Потом моей матери рассказывали, что я бредил всю ночь, а наутро стремглав промчался по лестнице мимо медперсонала и прямо в пижаме убежал в город. Они искали меня у нее в квартире. Как бы не так! Я б к ней и на веревке не пошел, а тут — «в пижаме»!

Ходить босиком оказалось таким мучительным занятием, о котором я раньше даже не догадывался. Это только с виду асфальт мертвый, а на самом деле поверхность его похожа на натянутую кожу большого животного. Она тепла и ворсиста от пыли. Она выпукла и тверда. Она, в конце концов, не прикрыта ни травой, ни землей и, как любое неприкрытое место на теле, манит до себя дотронуться такой же открытой тканью и так же, как и всякое соприкосновение живого с живым, вызывает невольное ощущение мгновенной физической близости. С каждым шагом во мне росло возбуждение. Оно переполняло

меня, мне приходилось останавливаться и краснеть от стыда перед прохожими за свои, а вернее — чужие трикотажные брюки, которые возбуждение это скрыть не могли. Я пытался загородиться ладонями, но этак выходило совсем смешно, и поэтому я перешел на бег. Сделав несколько десятков шагов, я, однако, остановился. Сердце затрепетало во мне, кулаки свела сладкая дрожь; и я едва успел заскочить за ближайшее дерево и опустить резинку, чтобы излить на нетоптаную траву переполнявшую меня сладость.

Потом идти стало гораздо легче. И хотя шаги поднимали во мне прежние волны позывов, что-то размягчилось у основания ног, а возбуждение перешло из нарастающего в ровно плещущуюся внутреннюю пустоту. Так несут полное ведро: излишки расплескиваются, а когда вода становится вровень с краями, сверху оно кажется пустым.

Занятый собой, у самой остановки я миновал было кого-то в черном, но меня схватили за рукав:

«Нучек!»

Я не сразу ее узнал. Седые букли выбились из-под платка к хищно заострившемуся носу, рот провалился, а из темных глазниц мутновато блеснули бельма.

«Ты? — спросил я старуху, оставаясь еще там, в себе. — Откуда ты взялась?»

«Да вот за тобою, — прошамкала Чемодуриха. Она ухватила меня за запястье и потащила к автобусу: — И билетика уж взяла. Давно жду. Иль не рад?»

«Рад, — с натугой вымолвил я. — Только... Бабунь, что это с тобой?»

«А с тобой?»

«Со мной все в порядке».

«Вот и я так же. Пошли, пошли».

К деревне от автобуса надо идти два километра вытянутым между лесами полем. Дорога чуть обозначена по свежей пахоте, пробившиеся бледно-зеленые высева еще редки, и грунт по колее мягок и слегка морщинист.

Чемодуриха идет сзади. Я не оглядываюсь. В автобусе я попросил у нее что-нибудь на ноги, и она отдала мне свои суконовые ботинки с замочком посредине. Обувь была моя, только я ее никогда не носил.

Я иду первым. Земля меня больше не тревожит. Я гляжу вперед: сейчас, перевалив через взгорок, мы увидим купол церкви, нет — острие шлема, а потом уже и голову и плечи Богатыря. Солнце — у нас за спинами.

Еще шаг, и начищенный ветром шелом блеснул мне прямо в глаза. Я зажмурился и отвернулся. Под веками зажгло, горячая волна прокатилась по моему горлу, ударила в тело и в ноги. Знакомая, страшная боль пронзила их, будто искрой. Я покачнулся, но не упал.

«Не хочу, не хочу!» — взревел я от боли и отчаяния. Бабка подняла руку и сзади прикрыла мои веки.

«Молчи, — проскрипела она. — Сейчас все пройдет».

И, действительно, боль отхлынула. Я осторожно сел рядом с нею спиной к деревне.

«Что это, бабунь, а?» — спросил я тихо, стараясь исподволь заглянуть ей в лицо.

«Это? Это — церква, нучек. Не надо на нее глядеть».

Она повернула ко мне свои усталые глаза и виновато улыбнулась.

Всматриваясь в них, я все искал подтверждение ее словам, пока не увидел там самого себя, только вверх тормашками. Этаким глупенький, маленький, смешной человечек, который по-дурацки кривлялся и строил мне рожицы. Я хохотнул. Он поддержал меня. И через минуту мы уже смеялись втроем: я, он и Чемодуриха. Взахлеб, до слез, до колик в животе. И, смеясь, я что есть силы лупил себя кулаками по ногам, и кулаки упруго отскакивали от мышц, как два мяча от накачанной автомобильной камеры.

Взгорок мы обошли протянувшимся к реке лесом и вышли к противоположному краю деревни. Миновав мост, мы поднялись огородами на левое плечо Богатыря.

Этот край села называется Азией.

Дома тут стоят вплотную друг к другу, разделенные только маленькими палисадниками. Последние густо обсажены акацией и сиренью, которые нависают над шаткими загородками и вдоль всего порядка образуют с обеих сторон зеленые стены. Окошки за ними не видны.

И я был рад этому.

Я не любил появляться здесь, где жили не просто чужие люди. Здесь жили мои враги.

Вот дом слева. Дутый пятистенник. Тут почуют Хляба и его братья. Они забавлялись тем, что мочились по перемене мне в валенки, когда двое других выкручивали мои руки за спину.

Следующий дом Салтыка. Такой же приземистый, как и хозяин. Его сыновья — друзья Хлябы — вечно дерутся между собой, потому что отец сам их ссраивает. Я видел, как он разнял их однажды, смеясь, схватил обоих за волосы и начал бить лбами, приговаривая: «А так кому больней, а? Ну, кому?» И они смеялись с ним вместе, хотя лбы их через минуту были разбиты в кровь.

Страшно было их встретить где-нибудь на дороге в одиночку, особенно зимой, когда рано темнеет и кровь на снегу — почти черная.

А вот направо — дом Лизика. Беленький такой мальчик, маленький, меньше меня. Мать его, тетя Лиза, в магазине работает. Так вот он вместе с ней по ночам водкой торгует. А то и без нее, пацанам — втридорога. После эти же пацаны у него и деньги занимают. Ему все должны. Любимое занятие Лизика — плюнуть кому-нибудь на спину и похихикать. Я не раз оплеванный ходил. И все молчат, раз все должны.

Иду дальше. Здесь Леха-карась живет, а рядом — Жора Пастухов. Обжорик. Тоже пакостники. Но эти больше — языком.

Или по девкам. Нарисуют на доске всякую дрянь и меня обязательно туда вставят. Будто ног у меня нет, а срам только один, и я на нем хожу. Сволочи! Да еще припишут что-нибудь про Алку и про «палку».

И Алка плачет. Ее удивительные бирюзовые глаза наполняются слезами, за каждую из которых я бы приговаривал обидчиков к смертной казни. (Один раз умереть легче. Я бы воскрешал их и убивал вновь и вновь, пока льются Алкины слезы.)

Она единственная, может, из всех понимала меня. Я видел это по ее глазам, но отблагодарить ничем не мог. Как и ее, «Азия» меня от этого отучила. Поэтому отвечал я ей тоже взглядом. Но иногда и взгляда оказывалось достаточно, чтобы после него «Азия» возобновила свои издевательства надо мною. И я знал, откуда это идет.

Вот его дом. Дом Колчака. Он сам себе дал эту кличку, и она приросла к нему так, что даже родители его иначе не называли. Колчак — царь и бог всей азийской пушеры. Она перед ним на задних лапках ходит. Скажет — закон. И попробуй кто-нибудь ослушаться — свои же измордуют.

Ему шестнадцать. Покатые плечи, чистые руки. Аккуратная стрижка и — волчий взгляд. Он силен, как молодой жеребец, нагл — как боров, и хитер, когда надо, — как и его отец, колхозный бухгалтер (который восемь председателей пережил, пять агрономов, хозяйство на ладан дышит, а тому — хоть бы что! В Москву на своей «Волге» на футбол ездил. Еще тогда, в посевную!).

Колчак обо всех все знает. А про Алку и подавно. Ее дом рядом с его по порядку. Да вот он! Зеленая крыша, калитка, а на ней — синий почтовый ящик.

В прошлом году я опустил в него письмо, а на следующий день на доске появился тот злосчастный рисунок. Тогда я понял, что до нее письмо кто-то уже прочитал. А, впрочем, гадать было нечего: вы-

ходя из школы, Алка бросила мне в лицо скомканный конверт, он видел это, Колчак, — стоял на крыльце и улыбался.

Говорили, что в тот же вечер пьяный дядя Володя, Алкин отец, выгнал их с матерью из дома. Алка и тетя Катя ночевали у соседей. И, как оказалось, напоил его колхозный бухгалтер. Дядя Володя ему перед этим дрова на тракторе привозил.

Я замедляю шаг и кошусь на калитку. Мне хочется, чтобы она отворилась и вышла бы Алка. Мне хочется, чтобы она увидела меня. Тогда бы я снял ботинки, ударил бы пяткой о дорогу и сказал: «Жарища сегодня!» Алка бы непременно улыбнулась и ответила: «Здравствуй. И правда, сегодня жарко». Тогда бы я сказал: «Пойдем искупаемся? Вода уже теплая, я пробовал». А она бы: «Дурачок! Кто же сейчас купается? Заболеешь». И я бы обиделся на нее, но не сильно. Ударил бы ногой вон по тому куску подсохшей грязи и равнодушно так бы ответил: «Как хочешь. Я и один могу сходить».

Но Алка не вышла.

Вместо ее голоса я услышал сдавленный крик позади себя:

«Саня!»

Я оглянулся.

Чемодуриха металась вдоль тропинки, поворачивающей к Алкиному дому. Она пыталась сделать шаг через нее, но, словно натываясь на невидимую стену, отскакивала назад, кричала, как от боли, и, будто от удара, загораживалась руками. Наконец, найдя какую-то брешь в этом препятствии, бабка с трудом просунула туда пальцы, руки ее неестественно удлиннились и, выгнувшись, потянули Чемодуриху за собой. Она впиалась ногтями в землю по ту сторону тропинки, в то время как ноги оставались на противоположной стороне, и застыла.

«Саня!» — прохрипела она изменившимся голосом.

Я подбежал к ней.

«Помоги!»

У меня не хватило сил разогнуть ее. С огромным трудом я оторвал Чемодуриху от земли, ухватив ее одеревеневшее тело за пояс, и положил его на землю.

«Бабуня, миленькая, что с тобой?» — в испуге приговаривал я, пытаюсь взглянуть ей в глаза. Но, когда откинул с лица волосы, — вздрогнул. Два желтых клыка, упершихся ей в подбородок, изменили ее до неузнаваемости. И — в глазах! В глазах отражался не я. Ухо! То самое ухо с обломанной камышиной!

Крик застрял у меня в горле. Я начал отстраняться от этого видения и убежал бы... Но тут бабка заговорила.

«Не уходи. Унеси меня отсюда».

Не знаю, кто приказал мне протянуть руки под ее согнутые колени, сдвинуть ее с места, обнять и прижать к себе, как охапку сухого хвороста. Не знаю, каким образом, но я встал и двинулся вперед. Шаг, еще шаг, еще несколько шагов и — удар!

Они все стояли передо мной. Вся «Азия». Хляба, Подхлябники, Салтыки, Леа Карась, Обжорик, Лизик — все.

И впереди — сам Колчак. Улыбаются. Колчак без портфеля. У Леа — два, сегодня его очередь нести.

Я стою перед ними с бабкой на руках и гляжу ему прямо в наглые глаза.

«Откуда дровишки?» — спрашивает Колчак. Толпа за ним смеется.

«Из лесу, вестимо», — подвывает Хляба.

«Уж больно ты грозен, а, Чмо? — говорит Колчак и сплевывает сквозь зубы. — Подлечился? Смотри не урони — рассыпется, потом не соберешь». Его гладкое лицо сияет самодовольством.

«Уйди с дороги, гад. Задавлю», — слышу я свой голос.

«Чего? — переспрашивает Колчак с удивлением и тут же добавляет: — Хляба, по-моему, он тебя «гадом» обозвал».

«Меня?!»

«А кого же?»

Хляба выдвигается вперед. Кулак у не-

го крепкий, на мне проверенный. Замашивается он медленно, будто растягивает удовольствие. Я непроизвольно загораживаюсь от удара бабкиным телом, но это его не останавливает. Ему все равно, куда бить, главное для Хлябы сейчас — направление...

Удара я не почувствовал. Скорее всего, он попал Чемодурихе в бок. Однако крик, раздавшийся сразу после толчка, вырвался не из ее рта. Я видел, как Хляба закрутился на месте, прижимая к рубашке разбитую руку. По животу его стекала кровь.

«Опусти меня», — прошептала очнувшаяся Чемодуриха. Я поставил ее на землю. В это время Хляба продолжал вертеться и кричать. Толпа смеялась над ним. И только Колчак оставался презрительно равнодушен к происходящему. Он наблюдал за ними.

Бабку покачивало. Я взял было ее под руку дрожащей от страха своей рукой, но она отпихнула меня: «Иди». — «Куда, бабунь?» — «Иди, тебя зовут». Я все переминался с ноги на ногу, хотя прекрасно видел, как Колчак манит меня пальцем. «Не бойсь, — подсказала Чемодуриха. — Полезут — первым бей и беги». Но с места стронуться я не успел.

Они окружили меня, отеснив бабу к палисадникам. Портфели их остались на тропинке. Теперь руки были свободны у всех.

«Мы тебя не убьем, Чмо, ты не дрейфь, — тихо проговорил Колчак. — Поэтому ты громко не кричи. А еще лучше — попроси-ка у Хлябы прощения. Больно ведь ему. Правда, Хляб?»

«Угу».

«Ну вот видишь... Ты, Чмо, давай-ка на коленочки. Ручку ему поцелуй и скажи: «Червяк я ползучий. Прости, дяденька, больше не буду». Хляба, иди-ка сюда!»

Этот ублюдок подошел ко мне и, кривясь, протянул к животу разбитую руку.

«Ну!» — скомандовал Колчак.

Ноги у меня подогнулись.

«Хорошо. Теперь поцелуй».

Кольцо вокруг меня сжалось, и где-то за их спинами я услышал в тишине девичий смех. «Алка!» — мелькнуло у меня в голове, а руки и губы потянулись сами к грязным пальцам Хлябы.

«Нормально. А теперь повтори: червяк я ползучий...»

«Червяк я ползучий» — Губы мои спешили, лишь бы Алка ничего этого не увидела.

«Недоносок безногий».

«Голь перекатная, бабкин горшок, тупая свинья...»

Я повторил за ним оскорбления, пока Алкин смех не прозвучал почти над моим ухом. Зубы у меня сцепились, больше я не мог вымолвить ни слова и закрыл глаза.

«Уснул, что ли? — окликнул меня Колчак. — Леха, приведи-ка его в чувство!»

В ожидании удара я вогнал голову в плечи, но тут раздался крик: «Саня!», и, распахнув глаза, я увидел ворвавшуюся в неприятельское кольцо Алку. «Сволочи! — кричала она. — Что же вы делаете? Он же больной!»

«Салтычки, успокойте эту дуру, а то она глотку надорвет!» — приказал Колчак. Братья кинулись на нее, вывернули ей руку, а когда она вскрикнула от боли и я приподнялся на ее защиту, Леха ребром ладони ударил мне по ключице. Я осел на место.

Колчак подошел к ней вплотную.

«Взвизгнешь — он еще получит. Поняла, красавица? Да и бить-то мы его не собирались. Сейчас он прощения попросит и пойдет с бабушкой домой... Отпустите ее... Давай-ка, Чмо, побыстрее да пожалобней: дяденька, прости меня, дурака, я больше никогда сюда не приду. Ну? Леха!!»

И тот больно ударил мне ногой по копчику.

«Дяденька, — говорил я, глядя на Алку, и видел, как темнеют ее бирюзовые глаза. — Дяденька, прости...»

«Саня!» — шептала она.

«Дяденька, прости меня, ду...»

«Не надо, Саня!» — не выдержала Алка. Вскрикнула. И Леха позади меня с удвоенной силой повторил удар.

«...рака, что я...»

Алкины глаза налились ненавистью.

«...что я... раньше тебе в морду не плюнул!!» — Меня прорвало. Я вскочил с коленей и, шагнув к Колчаку, залепил ему слюной прямо в глаза. Я не помню его лица в это мгновение, но вот лицо Алки я запомню на всю жизнь: такие лица называют просветленными.

Через стоящих передо мною Лизика и Обжорика я очень легко перепрыгнул, подхватил на руки приткнувшуюся у забора бабу и бегом пустился прочь к себе на Смыгаловку. Мне тогда и в голову не пришло: почему же меня никто не догнал? Помню только, как промелькнули мимо меня дома, школа, магазин, почта, как у меня заколенили от встречного ветра руки и едва не закрылись глаза, и, если б не Чемодуриха, которую я нес на руках, я бы взлетел еще тогда, до первой Грозы.

В школу я ходить боялся. Однако время даром не терял. Каждый день я открывал в себе что-то новенькое и не переставал удивляться своим открытиям.

Во-первых, я стал необычайно легок. Поначалу мне думалось, что это от того, что здоровые мои ноги с легкостью проносили меня над землей. Но однажды я попробовал раздавить какого-то жука на тропинке, а у меня ничего не получилось: жук уполз в траву цел и невредим. Тогда я наступил на эту траву, но, как оказалось, даже не придавил ее к земле.

Во-вторых, кожа моя стала необыкновенно чувствительной даже к мизерным перепадам температур, дуновению ветра, прикосновениям. Нет, я не мерз и не изнемогал от жары по всяким пустякам. Я просто очень остро ощущал все перемещения воздуха: тепло меня отталкивало, холод, казалось, притягивал к себе, как магнитом, и с непривычки мне было трудно

обходить даже натопленную печь. Скоро я овладел этим искусством, оттренировав свое тело к постоянному балансированию между потоками воздуха, и выучился ходить более-менее прямо, не качаясь. Самые чувствительные места: подошвы ног, ладони, шею, подмышки я прикрывал одеждой. А дышать старался носом. (Это случилось после того, как я однажды, разгорячившись за какой-то работой, вздохнул так глубоко, что почувствовал, как отрываюсь от земли.)

И, в-третьих, во мне появилась почти нечеловеческая сила, состоявшая в удивительной скорости перемещения моих конечностей. Например, резко опуская ногу к земле, я мог так сильно сдавить ею пустоту, что плотности сжатого под подошвой воздуха хватало на то, чтобы я сделал следующий шаг или прыжок, не касаясь поверхности земли. Впридачу ко всему воздух под ногой нагревался от такого резкого сжатия и поэтому выталкивал меня вверх с еще большей силой. Если в этот момент я успевал с тою же быстротой ногу выпрямить, то с легкостью запрыгивал на крышу нашего дома, а к концу недели, после изнурительных тренировок, — на верхушку самой высокой березы у пруда. Помогать себе руками я боялся: неизвестно, куда бы я тогда улетел, а, главное, — как бы приземлился. Ведь это самое страшное.

Но еще более страшными и страшными оказались изменения, происшедшие с моей Чемодурихой.

В тот день, после травли, я принес ее домой мертвой. Она не двигалась, не дышала, и пульс у нее не прощупывался.

Уложив на кровать, я пытался привести ее в чувство, но у меня так ничего и не вышло. Окостеневшая, лежала она в черном своем балахоне поверх покрывала, а я, всматриваясь в ее землистое лицо, все больше падал духом, пока наконец не заплакал от беспомощности.

Не помню, сколько времени я провел перед постелью. Рыдания мои сменились икотой, от которой вздрагивало все тело,

а внутренности, казалось, с новым толчком непременно должны были выскочить наружу. Я встал, чтобы напиться воды. Но, сделав несколько шагов, замер от раздавшегося за спиной голоса.

«Куда?» — окликнул меня кто-то знакомый.

«Попить...» — не сразу ответил я и кинулся к бабке: — Бабунечка, это ты? живая?»

«Живая», — проговорил кто-то опять за моей спиной, а на лице у бабки не вздрогнула ни одна морщинка.

«Кто здесь?» — крикнул я, оборачиваясь.

«Не ори, я это, я, — проговорил голос, и тут только в нем прозвучали бабкины нотки. — Дай мне маленько поспать».

Пришлось поверить, что это она со мной разговаривала, хотя верилось с трудом.

В течение дня я еще не раз подходил к ее постели, ожидая, что она попросит чего-нибудь или повернется с боку на бок, но Чемодуриха даже пальцем не пошевелила.

Наконец меня свалила усталость.

Ночь я проспал, как убитый, а наутро, еще не осознав, что заставило меня открыть глаза, я проснулся с радостным ощущением вернувшейся ко мне жизни. Только потом я почувствовал запах оладьев, а чуть позже — знакомое шарканье. Так могла ходить только моя Чемодуриха, надев на шерстяной носок великоватые калоши. Вспомнив вчерашнее, я подскочил с постели и кинулся на этот звук. Она стояла у печи посвежевшая, с озорной искоркой в глазах, и протягивала мне на полотенце дымящийся оладушек.

Я поцеловал ее в щеку; обжигаясь, запустил оладушек в рот.

«Красотища! А я уж думал, бабунь, что ты померла».

«Это я-то? Да я сто лет проживу, нучек. Ты ешь, ешь...»

И я ел. Она едва успевала за мной, то подливая из махотки сметаны, то возвращаясь к шкворчащей от подсолнечного масла сковороде.

Только проглотив последний из оладьев, я спросил:

«Бабунь, а что это вроде как в избе пусто?»

«Чего? Еще оладушков завести?»

«Да, говорю, пропало что-то в избе, не пойму?»

«Что-то пропало?»

«Так вот же! Конечно! Икона-то твоя где?»

Бабка промолчала. Я оглянулся к ней со счастливой улыбкой на сытой физиономии: «Икона-то...» — и осекся.

Будто страшнув с себя что-то, Чемодуриха резко выпрямилась и не сразу произнесла:

«Под ветлой».

«Под какой ветлой?» — переспросил я, начиная догадываться.

«Возле риги... Иль в больнице тебе память отшибло?! — прикрикнула она на меня. — Ну, так что?! Заводить еще оладьев?»

«Нет».

«Наелся, значит?»

Больше к этой теме мы не возвращались.

Бродя вокруг дома, я ловил себя на том, что стараюсь обходить эту ветлу. Мало того, мне было даже больно смотреть в ее сторону, а ноги, мои легкие ноги будто свинцом наливались, стоило только развернуть их носками в направлении ее морщинистого ствола. А вот к пруду я спустился на второй день после своего возвращения.

Он был почти полон.

В отличие от ветлы, пруд будто манил меня к себе. Возможно, прохладой, но скорее всего чем-то другим. Я не мог придумать этому названия. Совершая свой ежедневный обход его берегов, я старался не подходить близко к воде, предчувствуя, что добром такое безрассудство не кончится. Однако другого маршрута для своих прогулок попросту не представлял. Наверное, срабатывала привычка. Хотя, если

быть до конца честным, я выбирал этот маршрут из меньшего страха. Здесь, у пруда, я чувствовал себя не так уязвимым. Я знал, что «Азия» не простила мне моего плева. Я предугадывал, что на другом конце деревни готовится мне расплата, и чем дольше тянулось до нее время, тем страшнее она виделась в моем воображении. Картины рисовались мрачные, одна мрачнее другой. Стоя в одиночестве на плотине, я подолгу смотрел на маящую медную воду, мысленно проследивал путь катящегося задом бульдозера и в такие моменты холодел от лежащего передо мной чрева пруда, ощущая себя мертвым, раздавленным железом, или непроизвольно съеживался, представляя, как откуда-нибудь из-за березы метнется в меня Колчак. Бесшумный полет стрелы, боль и падение. Темнота...

Единственное, что поддерживало силы, так это открытия в себе. Постепенно, шаг за шагом, прыжок за прыжком убеждали меня, что я не так незащищен, как это кажется. Я тренировался с утроенной энергией, затрачивая на упражнения все свободное время. Его у меня было предостаточно. Домой возвращаться я не спешил — с некоторых пор каждое возвращение для меня оборачивалось пыткой.

Чемодуриха сходила с ума.

Обыкновенная днем, к ночи она становилась неуправляемой. Стоило сесть солнцу, как в ней пробуждалась странная нетерпимость к огню. Она не позволяла зажигать свет, заливала головешки в печи и металась по избе, то накрывая тряпками, то засовывая куда-нибудь подальше все блестящие предметы. Окна занавешивались, свежeweымытый пол устилался лоскутами материи, на лампы и самовар надевались чехлы и даже капля разлитого кошкой молока могла вызвать у нее чуть ли не конвульсии. Причем укрывала она все молча, суетливо, и если я в этот момент о чем-то спрашивал у нее, она не сразу отвечала мне, будто голос доходил до ее ушей сквозь толщу ваты. Говорила она не оборачиваясь, но я готов был руку

дать на отсечение, что губы ее не размыкались во время ответа. Она будто замерзала. Кто-то говорил за нее, пусть похожим, но неродным мне голосом. Она, как и я, боялась чего-то и каждый вечер к чему-то готовилась. Не раз за эту неделю я пытался проследить за ней, но всякий раз на меня наваливался глубокий, неодолимый, без видений, сон. Я боролся с ним, где-то в глубине души догадываясь о его природе, причине, вслед за которой он возникал. Я сопоставлял бабкины слова, жесты, мимику. Я вычислял время, определить которое в кромешной тьме, ею же созданной, было нелегко. И не знаю уж как, но я пришел к выводу, что засыпал не от усталости, не от темноты или чего-то другого. Вообще, я засыпал не сам — меня усыпляли. Не бабка. Кто-то. Посторонний. Тот, кто начинал жить в ней, лишь только садилось солнце.

Наутро она становилась прежней моей Чемодурихой, и вопросы о ее ночных приготовлениях застревали у меня в горле. Я даже начал побаиваться ее. А, может быть, не ее — той ее позы, которую она принимала, сама становясь похожей на черный вопросительный знак. Я искал ответа. И ждать долго не пришлось.

В тот день с утра парило. Изнывая от жары, я в который уже раз обошел пруд, борясь с желанием снять с себя одежду и броситься в глянцевую воду. Ни ветерка. Только редкие шлепки чудом выживших карасей да ленивое карканье с верхушек берез.

Я заставил себя сесть у края плотины и невидящим взглядом уставился в противоположный берег. Не помню уж как, но глаза мои сами собой закрылись, и я, наконец, задремал.

В ползузатыи, сквозь сон, мне послышались чьи-то шаги, потом хруст сломанной ветки и то ли стон, то ли вздох, раздавшийся в нескольких шагах надо мной. Приоткрыв глаза, я увидел стоящую на плотине Алку и, сам не знаю зачем, спря-

тался за ближайший куст, продолжая отсюда наблюдать за происходящим.

Она была необыкновенно хороша в своем цветастом платице. Высокая, тонкая, острогрудая. Природа, по-видимому, очень спешила, прибавляя ей с каждой весной все больше прелести, и каждую весну я пропадал в неборимой печали. Печали от того, что угнаться за ее цветением мне никогда не удастся. Вот и в тот день, когда я из-за куста, снизу, оглядел постройневшие, округлившиеся Алкины ноги, словно нарочно перечеркнувшие двумя полосами кусочек неба и солнца у нее за спиной, когда я увидел сквозь платье остальное, высветившееся, а мною еще не называемое вслух, внутри у меня все размягчилось и тихая-тихая грусть обволокла мое сознание, сделав тело мое беспомощным и мне же противным. Я сразу вспомнил о невыведенных, безобразных угрях на лице, про дурацкую, огромную свою голову и хилое тело, способное вызывать у нее только постыдную для меня жалость. К счастью, мелькнувшая мысль отняла лишь мгновение, подарив остальное время для бездумного любования ею. И минуты в этом времени двигались вместе с закатным солнцем, переплетавшим со своими лучами рыжие Алкины волосы.

Очарованный, я не сразу заметил возникшую из-за берез фигуру. Но когда она придвинулась вплотную к Алке, видимый мир мгновенно раскололся надвое.

Это был Колчак.

Перебросившись фразами, они спустились с плотины и присели на траве в десяти шагах от моего укрытия. Я вжался в землю. Колчак по-хозяйски обнял встрепенувшуюся Алку за плечи, на глазах у меня повисла какая-то пелена, и я, сам того не желая, замер, не в силах ни пошевелинуться, ни пропустить хоть слово из их разговора.

«Алочка... А говорила, что не придешь». «Пришла».

«Алушка...» — голос у Колчака вязкий и пряный. Он притискивает ее поближе и обхватывает рукой за талию. Она не со-

противляется, но и не отвечает на его поцелуй.

«Рассказывай», — просит Алка.

«Потом...» — Это Колчак зарылся в ее волосы на затылке. Поднимает руку к груди.

«Не тронь! Рассказывай, что обещал!»

«Все так сразу?»

«Ну ты ведь сразу начинаешь. А я чем хуже? Говори!»

«Хорошо. Хотя можно было бы не рассказывать, а сразу заявить в милицию. Только ведь ты не поверила бы!»

«Я и сейчас не верю».

«Перестань. — Колчак опускает руки. — Расскажу. И докажу, если захочешь. Но не забывай — это не для слабых нервов. Заорешь, обманешь потом, я ведь и по-другому могу сделать. Поняла?»

«Поглядим».

Он всматривается в нее. Срывает травинку и долго жует.

«Говори!!»

«Говорю... — показывает рукой. — Бульдозер вон оттуда съехал, мимо той березы и — в пруд. Я сюда на следующий день приходил, когда его вытаскивали. Стоял, слушал. Коробку передач не заклинило. Сползти он не мог — спуск не такой крутой. Так что, с техникой у отца твоего все нормально было. Потом из провала доставали, что от него осталось, по частям. То одно найдут, то другое... Не морщись!.. Веревкой привязывались, чтоб не провалиться, водолазов вызывали, а потом — плюнули. Всего собрать так и не смогли. Головы не было... А тут вода прибывала — плотину-то он все-таки перегородил! — устали все, позамерзли, ну и разошлись. На завтра я опять пришел. Слышу, что по крови определили — алкоголь. Только это не мне рассказывать... Ты его в тот день видела?»

«Утром. С похмелья он был».

«Вот. А похмелялся он у нас! стакан хлопнул и — все! Для твоего отца — это только понохат. Значит, голова соображала, знал, куда лез».

«Ты не о том».

«А о чем же?! Эти, как узнали, что он «под мухой» был, повозились немного и начали веревки сматывать. Обмерили еще раз, покурили и уехали».

«А ты?»

«А я, Алочка, остался. Уж больно мне интересно стало, как это трезвый мужик умудрился самого себя трактором пере- ехать? Ходил-ходил, искал-искал и — на- шел...»

«Что нашел?»

«Грача».

«Ну и что?»

«Ничего. Мертвый был грач, а в нем — стрела с наконечником. Да с каким! Ты погляди...»

Колчак вынимает из кармана и показы- вает Алке наконечник.

«Видишь? Похлеще пули! Таким и че- ловека убить можно».

«Это все?»

«Хорошо, если б все. Я с неделю хо- дил, голову ломал, где же мне хозяина найти. Ребятам показывал — не их. У от- ца спрашивал, может, кто из мужиков балуется? Нет. Всех перебрал. Но один все-таки остался».

«Кто?!»

«Чмо».

«Саня?»

«Ну да. Безногий. Правда, он тогда в больницу смылся. Но я все равно решил последить».

«За кем?»

«А за Чемодурихой! Два месяца потра- тил. Ну и интересная же бабка! Из дому почти не выходила, так только, по мело- чам. Ни в магазине ее нет, ни на почте — нигде. Думаю: чего это она? А потом как- то в окошко посмотрел: молится. И как чудно молится! Бьется лбом, лицо все в крови, а руки и тело по пояс колючей проволокой перемотаны. Одну ночь, дру- гую. Я уж думал, что она спятила. Рас- сказать бы кому — бр-р! Но вовремя стер- пел».

Колчак вынимает папиросу. Закурива- ет.

«Неделю назад... Да, точно, неделю

назад, как раз перед тем как ему из боль- ницы прийти... Ночью я у них за старой ригой лежал. Сейчас и вспомнить жутко. Поначалу все в доме тихо было, а потом эта старая дура как заорет! И давай сме- яться! С час хохотала, как ненормальная, по избе то ли бегала, то ли прыгала, сту- чала, визжала — тьфу! Я и тогда через левое плечо плюнул. Так. На всякий слу- чай. Ну а потом вышла в нижней рубаше, волосы — чуть не до земли и на лопате что-то впереди себя аккуратно эдак не- сет. Прямо на меня! Старая ведьма... Я, если честно, от страха отполз подальше и не видел, что она там под ветлой зако- пала».

«Врешь!»

«Нет, Алочка, не вру. А вчера ночью это дело выкопал».

«Что, что там было?»

«Икона. А вот под ней...»

«Что?»

«То самое... Голова».

«Батя?!»

Колчак утвердительно кивает и подки- дывает на ладони наконечник.

«А в ухе у нее — вот такая же штучка».

«Ты врешь!»

«Ну уж нет! Я тоже тогда немного тру- ханул, побежал. Только недалеко. Поду- мал: перепрычет ведь опять, нечисть! Вернулся».

«Где она?»

«Зарыл».

«Где?»

«Да вон под тем кустом», — и он пока- зал на меня. Алка взглянула по направ- лению его руки.

«Хочешь посмотреть? — Он вновь обнял ее за плечи. — Ну! Не дрейфь!»

Я еще ближе прижался к земле и тут только ощутил, какая она под руками мягкая.

Алка не поднялась. Ее начало клонить в сторону. Колчак повалился вслед за ней, и в сумерках я с ужасом разглядел ее ого- лившиеся бедра. Я смотрел на них, а сам непроизвольно все глубже вцарапывался

твердое. Мгновенное желание отдернуть руки перехлестнулось вдруг другим, противоположным, и я истерично быстро начал работать пальцами. Скоро это было у меня в руках. На ощупь — я не ошибся.

Секунда потребовалась на то, чтобы разогнуть колени, перескочить через полтораметровый куст и оказаться рядом с Колчаком.

«На!!» — крикнул я что есть мочи и сунул останками головы в его голову.

Вскочил он чуть ли не проворнее меня. Испуг тенью мелькнул по его лицу. Тут же пропал. И следом в его руке что-то блеснуло. «Нож?»

Алка, распластанная, с закрытыми глазами лежала на примятой траве между Колчаком и мной. «Не помешает».

Я размахнулся и, вложив в бросок всю свою новую силу, швырнул голову в пруд, себе за спину. Колчак проводил ее взглядом. Раздался шлепок о поверхность воды. Тогда он развернулся ко мне и прохрипел:

«Все, Чмо... Молись!»

И я отступил.

Позже я благодарил судьбу за этот шаг. Смерть была слишком близка. Забыв о своей силе, я пытался назад, а он не спешил меня догонять. Он был спокоен и уверен в своем превосходстве. В его глазах мелькнуло презрение к моей трусости. Он шел на меня, как идут коготь свинью, прижимая ее сначала к стене, от которой ей никуда не деться. За мной был пруд.

Но вот с его лицом что-то произошло. Зайдя по колено в воду, Колчак вдруг уставился на мои ноги и окаменел. Я сделал по инерции еще несколько шагов назад, но, увидев его замешательство, остановился тоже.

Кругом была вода.

Ноги мои стояли на ее поверхности, не проваливаясь ко дну, и, если бы не враг мой, изумленное лицо которого подтверждало это, я бы и сам вряд ли в такое поверил.

Она держала меня как земля. Я подопшвами чувствовал ее надежную твердость. И скоро минутное замешательство сменилось уверенностью, что теперь-то ему меня точно не достать. Мы поменялись ролями. Отступать начал он.

Постепенно, шаг за шагом, Колчак выбрался из воды, поднялся на берег и, наступив на Алку, упал рядом с ней.

Она закричала от боли. Он — испугавшись ее крика.

«А-а-а!» — раздалось над прудом. Это и я вставил в их голоса свой победный вопль.

«А-а-а!» — еще выше и звонче прокричала подпрыгнувшая девчонка.

Они кинулись бежать от меня. Я улыбался им вслед.

Когда они скрылись за плотиной, я топтался на месте и, решив не выходить на берег, двинулся по воде домой. Наискок. Так было короче.

Переступая порог, я из сумерек окунулся в черноту уже затемненной избы. Впервые после больницы мое возвращение было столь поздним. Поэтому я, несмотря на перенесенное незадолго потрясение, заставил себя побороть страх, мягко прошел по застеленному полу к постели и боком повалился на нее, моля только об одном: чтобы сон поскорее прибрал меня к себе, и я бы забыл, забыл все случившееся сегодня у пруда. И те два огонька — бабкиных глаз — молчаливо позволивших мне лечь. Я различил их в темноте боковым зрением. Они проводили меня до кровати и тут же погасли. Комната и я погрузились в полную тьму.

И пришел сон. Сразу. И неожиданно.

Над лесом, над зубчатыми верхушками деревьев, показалась расплывчатая спица копья, затем шлем с опущенным забралом, плечи, а уж потом гривастая голова коня и сам Всадник — зеленовато-черный на фоне густого фиолетового неба. Чуть раскачиваясь, он медленно вырастал на горизонте, все увеличиваясь и возвышаясь,

заполняя собою розовеющее пространство. Земля содрогалась от поступи огромного животного под ним. Металлический лязг и скрежет становился все невыносимее для слуха. И скоро шаги коня, звон амуниции и треск ломающихся под многотонными копытами стволов перешли в громоподобный грохот, заставивший меня вздрогнуть и тут же онеметь от ужаса.

Громыхнув в последний раз ногою, конь его замер, из ноздрей коня вырвалось пламя, и Всадник приподнялся в седле.

«Эй!» — крикнул он в пустоту, и от взметнувшегося ветра над домом поднялась и мягко осела крыша.

«Проснись! Бой еще не окончен. Иль прошлая рана поубавила в тебе храбрости?»

Всадник захохотал, откинув назад черную голову. Смех его вознесся к небу. Свинцовым шаром он прокатился по округлой тверди, вернулся к земле, и многоголосым эхом трянуло стены дома.

«Вставай!»

«Не могу... — ответил ему кто-то из земной утробы. Горько вздохнул, так, что избу слегка накренило: — Ты выиграл. Лучше добей меня. Людям от этого станет легче».

«Что люди! Ты просто трус! — вновь засмеялся Всадник. — Люди топчут твои язвы. Они изъедают тебя, как черви, и тело твоё служит для них навозом. Вставай! Иль стыдно погибнуть в честной схватке, а проще сгнить заживо? Ну, что же ты? Восстань!».

И волнами заходила земля под Алатеевой. Красные осыпи двинулись вместе с травой по склонам лощин. Закачались березы. Хлюпнул пруд. Замутилась вода в реке. А из-под старой церкви раздался стон:

«Не могу!»

И вновь осела растревоженная земля.

Всадник плюнул с досады. Слюна его прожгла в торфе глубокий колодец, на миг осветив обезображенное забралом лицо.

«Что ж? Прощай», — раздался его свистящий шепот. В доме задрожали стекла.

Взнузданный конь, повинуясь, встал на дыбы. И я увидел, как в черноте вспыхнуло от его загоревшихся глаз копые, сверкнуло молнией, и Всадник обрушил на Богатыря сокрушающий удар.

Я упал с постели.

«Бабуня!»

Я проснулся. За окном бушевала гроза.

Трудно было встать с пола, раскачивающегося под ногами. Только со второй попытки я принял положение более-менее сносное для ходьбы, но последующие раскаты грома скоро увели пол из-под ног, и я упал на четвереньки. Так в поисках бабки я проползал по избе с четверть часа. Не найдя ее, я подумал о самом худшем, однако выходить за дверь, на волю беснующемуся небу, мне было не вмоготу. Какой-то тупой страх заставлял меня обходить избу вновь и вновь, звать бабку и, съезжаясь, замирать, когда в очередной раз стены сотрясались от громовых ударов.

Замкнутое пространство мало-помалу сдавливало мне виски, я закрыл глаза, не переставая перебирать руками и ногами, и вдруг понял, что верчусь на одном месте. Как заколдованный. Не знаю почему, но это испугало меня больше всего. Я представил падающий на голову потолок и — метнулся к двери. Нашунав руками засов, я убедился, что дом заперт изнутри. Оглянувшись, крикнул назад: «Баба!». Но следующий удар грома и звон вылетевших из окон стекол принудили меня отбросить засов в сторону и выбежать под хлещущие плети молний.

Небо раскалывалось. Непрерывные зигзаги то там, то здесь озаряли его черное нутро и цепко впивались в землю. Но даже среди этого ада я услышал дикий смех над моей головой.

На крыше, вытянув вперед руки и распустив волосы, стояла Чемодуриха. И хотала. Фигура ее освещалась всплесками небесного пламени. Белая рубаха

сверкала, а над подбородком вспыхивали желтизной клыки.

«Сюда! Сюда!» — крикнула она мне.

Я отстранился. И тогда руки ее начали вытягиваться, приближаясь. Скрюченные пальцы крепко ухватили меня под мышки, еще мгновение — и я уже стоял рядом с нею на крыше, со страха ухватившись обеими руками за печную трубу.

«Гляди — вон там! Видишь?»

«Да», — прошептал я.

Там, куда она указывала, лежали остатки церкви, которую пожирал огонь. Накренивший купол, казалось, повис на волоске, но вот пламя, взметнувшись, оборвало эту непрочную связь, и шлем Богатыря рухнул на землю. Из пожарища взметнулись искры, а следом, словно салютуя этому падению, полыхнула молния.

«Мы свободны! О! Мы свободны! Лети, Александр! Ле-ти», — неистово вскрикнула Чемодуриха и, оторвав меня от трубы, спихнула с крыши.

Необъяснимое чувство!..

Что — птицы? Ни одна из них не способна отрываться от земли без взмаха крыльев. А здесь! — я воспарил, не сделав никакого движения руками, не оттолкнувшись ногой, не шевельнув пальцем. Я плыл в пространстве. Ни содрогания грома, ни ветра — ничего! — только Полет! Будто в теплой капсуле, невидимой и невесомой, тело мое, распростертое над землею, взмыло вверх. И только мысль, только моя мысль управляла ею.

Белым пятном на крыше мелькнула где-то далеко внизу бабка, пруд блеснул под всполохом молнии, и горящая церковь скоро превратилась в тлеющий, будто в черном провале печи, одинокий уголек.

Взмывая все выше, я миновал обволакивающие Землю облака и устремился к звездам.

«О мир! — пело во мне. — Ты мал! Ты жесток! Но ты прекрасен, мир! Нет в тебе места страху! Ты непобедим для него!».

Не знаю, не помню, как скоро и долго ввинчивался я в пространство, распевая

эту песню. Наверное, до тех пор, пока мысли моей хватило той высоты, на которую она способна. Тогда я завис в черноте и огляделся.

Вокруг сияли Звезды. Недвижимы, стояли они со всех сторон, и какая из них дальше, а какая ближе — понять было невозможно. Они мигали, перемежая все цвета радуги, и в подмигивании этом было что-то зажигательно-веселое, но веселое не детское, даже не человеческое, а — потустороннее, вечное, такое, от чего вряд ли засмеешься, а только переполнишься радостью. Энергией радости. Когда ощущаешь себя такой же звездой. Да не просто звездой, а Центром Вселенной.

«О мир! Ты велик! Ты добр! Но как же ты черен! Нет в тебе места свету! Ты слишком огромен для него!».

Едва подумав о возвращении, я и не заметил, как все быстрее замелькали мимо меня вверх звезды, как я прорезал подушку облаков и за какие-то секунды оказался вновь на своей крыше, рядом с печной трубой и сияющим от восторга, клыкастым лицом Чемодурихи.

«Что? — спросила она настороженно. Видал?»

«Да. Посмотрел».

«Ну, и как там?»

«Как на небе, бабунь».

«То-то, Саня. Береги себя! Знай — ты один!»

Я один. Утро. В комнате прибрано. Тишину нарушают только шарканье бабки в чулане да муха, настойчиво бьющаяся в оконное стекло.

Гляжу в потолок, облепленный газетами. Они пожелтели от времени и вездесущего солнца. Люди на фотографиях знакомы мне и привычны, как родственники, которых у меня нет.

Я давно выучил все газетные заголовки наизусть, но вновь перечитываю их так и сяк. И от этой призывной неизменности мне кажется, что время остановилось, что оно застыло в этой комнате навечно и ни-

что не способно его подвинуть. Так же, как и меня, лежащего на постели, смотрящего в потолок, не чувствующего своего тела. Я один.

Но я не одинок. Во мне теперь живет моя тайна. Я верю, я знаю, что она есть. И хоть не дает она мне ни радости, ни облегчения: всего лишь спокойствие, — я понимаю, что покой этот надежнее, чем все остальное. Он вселяет в меня уверенность, и с ней я начинаю ощущать себя совсем другим человеком. Да, человеком ли? Нет. Кем-то иным, только не человеком. И поэтому я один. Капсула не разбилась. Все цело, даже оконное стекло, о которое теперь бьется муха. Но все цело по-новому.

Я заметил это, когда наконец встал и подошел к зеркалу. В нем я увидел свое лицо. Гладкая кожа. Румянец. Погустевшие брови. От вчерашних угрей не осталось даже пятнышка.

Тогда я открыл окно и выбросил в палисадник склянку с огуречным лосьоном.

Началось воскресенье.

Мы сидели с Чемодурихой за завтраком и молча улыбались друг другу, когда у крыльца остановился «Москвич». Из него вышли мать с хахалем и двое незнакомых мужчин. Они с шумом ввалились на крыльцо, протопали по сенцам.

«Мамаша! — раздался оттуда голос Егора Иваныча. — Да что ж у тебя темень-то такая? Дверей не найти. Открой-ка!»

«Пусти! — отпихнула его, видно, мать и переступила через порог. — Нажрутся с утра, а после... Здорово, свекруха! Не ждали?»

Следом за ней с авоськами вошли мужики. В нос ударил знакомый запах.

«Здорово... — встретила их Чемодуриха. Она локтем придвинула ко мне тарелку с бараниной и поднялась. — А мы вот только откушали. Проходите, садитесь. Пойду разогрею чего».

«Да сиди! — сказала мать, а сама ухнула рядом со мною на освободившуюся та-

буретку и гулко вздохнула. — Сбежал?»

Я не успел ей ответить. Обернувшись, она уже приглашала за стол мужиков, топтавшихся у двери, и, только когда они расселись за столом, не оставив Чемодурихе даже уголка на скамейке, спросила повторно и еще более сердито:

«Ну, что молчишь? Язык проглотил? Отвечай, когда мать с тобой разговаривает!»

«А где мать? — спросил ее в свою очередь я и взглянул прямо в глаза. — Это ты, что ли?»

«А кто же?!»

«Не видно, — покачал я головой и, будто в доказательство, окликнул бабу. — Мамань, тарелку-то заberi! Я наелся. Спасибо».

Мужики переглянулись между собой. Мать онемела. И в одно мгновение стала пунцово-красной.

«Пацан! Ты кому это говоришь?» — поднялся с лавки Егор Иваныч.

«Вот этой», — встал за ним вслед я, кивнув в сторону матери.

«Саня!!»

Подскочившая Чемодуриха оттянула меня за рукав от стола и начала выпихивать за дверь.

Я засмеялся.

«Не нравится? Глотайте, глотайте! Вам все равно, что сейчас с водкой глотать!»

«Замолчи!» — прошипела бабука и хлопнула дверь за мной.

Однако я не сразу ушел. Подождав немного, услышал голосистый вой в комнате и, с удовольствием отметив, что принадлежать он мог только посторонней, оскорбленной, — спокойно вышел из дома.

За бабуку я не волновался. Чтобы оставить меня в деревне, у нее было много всяких доводов, и я уже знал, что даже самый глупый из них пришелся бы гостям по нраву.

Я шел на «Азию». Тронутая росой гусяная травка вдоль тропинки мягко пружинила под ногами. По-летнему яркое

солнце словно подталкивало меня вперед, туда, где меня уже ждали; и я не знал, кто и зачем, но двигался легко, успевая на ходу пугнуть то стайку воробьев, то какую-нибудь собаку, которая в буквальном смысле давала деру, едва заведя мои ноги. Тогда мне казалось, что я мог войти хоть на псарню с натасканными на травле людей кобелями, а подумав об этом, с нетерпением ускорял шаги и беспокоился лишь о том, что вдруг не застану кого-нибудь дома из всей азийской шуперы.

Волнения мои были не напрасны. Проходя мимо обгоревших развалин церкви, я чуть было не просмотрел копавшегося в них Лизика, всего вымазанного в саже.

«Эй, друг, а ну-ка, поди сюда!» — крикнул я ему. Лизик оторвался от своего занятия.

«Чего визжишь? Рули!» — отозвался он и вновь нагнулся за чем-то. Я окликнул его еще, на этот раз поостроже:

«Быстрее! Не видишь: я жду. Марш к ноге!»

«Что-что?»

«Бегом!»

Лизик в нерешительности потоптался на месте, но все-таки двинулся в мою сторону, осторожно передвигая ноги и пряча что-то за спиной. Встав немного поодаль, он заговорил:

«Слушай, Чмо, тебя же предупреждали: не появляйся. Чего ты хочешь? Колчак тебя в навозе утопит, и все подтвердят, что ты сам утонул. Не ходи. Я же по-доброму говорю».

«Пожалел? — усмехнулся я, и его остренькое лицо сморщилось в презрительную гримаску. — Давай и я тебя пожалею».

Как видно, он ничего не смог понять, потому что, когда я сделал прыжок ему за спину, от души поддал ему сзади ногой и он плюхнулся на дорогу, физиономия его сохранила прежнее выражение. Поднявшись, он сморщился от боли и ухватился за ушибленное место. Рядом с ним валялась лампадка с цепочкой. Я поднял ее.

«Конфискую. А ты дуй вперед и собери всех. Я тут буду ждать. Понял?»

«По-онял...» — заикнулся Лизик.

«Валай. Да не так! Ну? Бегом!!»

И он бросился прочь.

«В самом деле, — подумалось мне, глядя на улепетывающего Лизика. — Что я буду каждого разыскивать? Сами придут».

Повертев лампадку в руке, я хотел было выбросить ее и размахнулся. Но тут ноги пронзила уже забытая боль, и я от неожиданности присел на остывающий пепел пожарища.

«Что это? Неужто опять?»

Подшвы ботинок, как приклеенные, оставались на том же месте. Икры вдруг заломило так, что лоб покрылся испариной, и я в полном отчаянии уткнулся головой в колени и закрыл глаза, ожидая самого худшего.

Через некоторое время я услышал топот. Это были азийские. Они встали полукольцом, и сквозь слезы я различил, что Колчака среди них не было. Однако легче мне не стало. С трудом я поднялся и, зажав лампадку в руке, как кистень, приготовился к обороне. Хотя сам, сам несколько минут назад собирался нападать!

«Главное — не подать виду!» — твердил я себе, помахивая своим оружием. И когда Хляба начал вразвалочку приближаться к тому месту, где я прирос, я не остановил его, а наоборот, с притворным нетерпением зашипел:

«Ну, что вошкаешься? Двигай сюда, поближе!»

Фраза сработала, и Хляба совсем замедлил шаг.

«Подходи! Или штаны уже мокрые? Ну!»

Он остановился. Вглядевшись в меня, Хляба вдруг расплылся в понимающей улыбке и кинул назад:

«Мужики, да он ёкнулся! Гля: сопли-то распустил. А? Он ведь и вправду убьет, и ему ничего не будет. А?»

«Дай ему, дай! — заверещал из-за спины Лизик. — Пару раз можно! Он, знаешь, как мне заехал?»

«Вот ты и дай,—уже спокойно отвернулся от меня Хляба.—А я посмотрю».

«Трусы! Трусы! — заорал на них я то ли от боли, то ли с отчаяния. Мне вдруг стало все равно, чем кончится будущая драка, мне захотелось каждого из них хотя бы задеть этой склянкой на цепочке, все равно куда, лишь бы сделать каждому так же больно, как и мне. — Леха! Обжорик! Кобели салтычиные! Идите же сюда, поцелуемся! Эй! Что вы без Колчака? Будто стриженные овцы! Плетей некому дать? Вшивовье!»

Крики мои были напрасны. Азийские с каждым новым моим воплем все громче смеялись, да я и в самом деле был, вероятно, смешон: плачущий, хилый, размахивающий в воздухе лампадкой. А боль во мне все росла, и я едва не потерял сознание от собственного крика.

Но тут смех поутих. Толпа раздвинулась. И вперед вышел Колчак. За руку он держал Алку.

«Гляди! — приказал он ей. — Вот он. Это он убил твоего отца».

Я онемел. Лампадка выпала из моих рук, и, несмотря на то, что боль в одно мгновение унялась и я почувствовал себя свободным, ноги мои не двинулись с места.

«Хляба, дай...» — тихо сказал Колчак, отведя назад руку. И Хляба, будто по договоренности, вложил в нее нож.

«На!» — сунул Ролчак Алке оружие. Она сжала его так, что побелели костяшки ее тонких пальцев, и я понял, что она перестала меня видеть.

«Ну? Иди», — подтолкнул он ее в спину. Алка пошла.

Так в каком-то фильме ходил похожий на человека робот: он глядел сквозь пространство и каждый шаг его был механически точен и запрограммирован какой-то железкой, равнодушной и потому страшной.

Я видел этот фильм очень давно. И тогда мне казалось, что я смотрю его вновь. Что ни Алки, ни Колчака не существует, а просто идет это страшное кино про ро-

бота-убийцу. Сейчас оно кончится. Сейчас в зале станет темно...

«Бей!» — скомандовал Колчак, когда, подойдя ко мне вплотную, Алка остановилась.

«Бей...» — прошептал я вслед за ним, видя, что она медлит.

И на шепот мой она на какое-то мгновение словно прозрела. Бирюзовые глаза распахнулись, а губы, не открываясь, спросили: «Саша... Ты?»

«Я».

Размахнувшись, она занесла нож над моей головой и ударила...

В этот момент что-то случилось. Я слышал, как лезвие, звякнув, полоснуло мимо меня. Алка вскрикнула, а открыв глаза, зажмуренные во время удара, я увидел, что в руке у нее осталась одна рукоятка ножа. Только это не все. Видно, что-то произошло и с моим лицом, потому что глядевшая на меня в упор Алка побледнела и рухнула наземь.

Нагнувшись над ней, я пытался привести ее в чувство, я бил ее по щекам, тряс за плечи, не обращая внимания на то, что собравшаяся вокруг меня «Азия» оббивает себе руки и ноги о невидимую для них преграду. Краем глаза я видел, как они корчатся от боли, не в состоянии уразуметь, что капсула моя непробиваема, — тогда меня беспокоила только Алка.

Я неистовствовал, сотрясая ее тело, ужасаясь возможной смерти, а добился лишь того, что из порванного выреза платья выпрыгнула острая грудь. Смутившись, я на мгновение отвел от нее глаза, но тут же увидел нечто совершенно меня поразившее. На белой коже синел кровоподтек. Похож он был на те, которые мать, не почувя дома, наскоро замазывала утром пудрой перед зеркалом и прищептывала: «Ну баловник, ну, я тебе завтра покажу!» — и опять исчезала на следующую ночь.

«Значит — Колчак...» — мелькнуло у меня в голове, а домыслить дальше я не решился.

«Колчак! — закричал я, выпрямляясь. — Колча-а-ак!!»

Но вокруг никого не было.

Прихрамывая, за калиткой своего дома скрылся Лизик. А от остальных убегающих по дороге клубилась лишь желтоватая пыль.

Вдоль берега пруда, между березами, растущими по крутому склону, и ивняком, подбиравшимся прямо к воде, полупетлей раскинулось ожерелье из небольших ярко-зеленых полянок. Они окрашены были желтоватыми пятнами одуванчиков с сочными и хрусткими ножками.

Миновав дорогу от церкви за несколько секунд, я прошел по цветочным головкам на противоположный бабьему дому берег, выбрал погуще траву и уложил на нее бесчувственную Алку.

Она была бледна. Распущенные волосы хваткой обвивали ослепительно-белую шею. Я освободил ее от них и тут только рассмотрел, как она красива. Под солнцем, с голубоватой тенью травы на лице, с полураскрытой розовой ладошкой.

Присев рядом, я долго любовался ее красотой, не замечая, как течет время, нисколько не задумываясь о том, каким образом мы оказались рядом друг с другом и что наконец я буду делать, если она очнется. Я просто глядел на нее, и близость и тишина делали все ранее происшедшее потусторонним, давним, может быть, даже и не происходившим в яви. Ее поза говорила только о сладком сне. И невозможно было ни пошевелинуться, ни моргнуть, чтобы не помешать ему. Я слышал, как бьется ее сердце, хрупкое и беспомощное, будто ложечкой помешивали в фарфоровой чашке, и постепенно, вслед за его мягкими толчками, поднималась во мне та самая необъяснимая грусть, то сосущее внутренности чувство собственной никчемности, ничтожности моего существования рядом с нею, такой земной и настоящей, а потому недосыгаемой для меня. Я готов был заплакать от обиды на судьбу свою, ставящую между нами все более непреодолимые барьеры. И в те мгновенья мог

бы отдать всё свое здоровье и все вновь приобретенные нечеловеческие достоинства за один ее доброжелательный жест, взгляд, за одно только сочувственное слово, обращенное ко мне. Но она оставалась неподвижной, и если бы не раздавшиеся за моей спиной голоса, я бы, верно, проплакал над ней до глубокой ночи.

Звуки на том берегу заставили меня обернуться. Сквозь ивовые ветки я увидел спускающуюся к воде группу людей, несущих что-то тяжелое, и скоро распознал среди них Егора Ивановича, двух его друзей и мать, в руках у которой блестели цинковые ведра.

Компания весело переругивалась между собой, мать залиристо хохотала, и я понял, что все они уже изрядно «клюнули», а теперь, судя по всему, собирались порывачить: вдоль берега вскоре был раскатан большой, метров на двадцать, бредень, мужики скинули с себя одежду и, крикая, начали пробовать босыми ногами воду.

«Эй, Клавка, — покрикивал на мать Егор Иванович. — Сбегай-ка домой да принеси что-нибудь для подогреву. Вода-то ледяная, не дай бог, подхватим заразу какую».

«Уж ты-то подхватишь! — откликнулась мать. — Зараза к заразе не пристаёт. Лезьте так. Здесь глубоко. А вмажете, так и сами карасями заделаетесь».

«Не командовай! Сказано — иди!»

«Да иду».

«Слышь, Клав, — приостановил ее какой-то мужик. — А правда, Егор говорил, что здесь в одной яме целый трактор потонул?»

«Было дело... Так это по весне, вода большая была».

«А сейчас?»

«А сейчас в самый раз! — ответил за мать Егор Иванович и гавкнул на нее: — Что вылупилась? Давай пошустрее!»

Когда мать двинулась к дому, мужики закурили и, не теряя времени, принялись за дело. Растянув бредень, один из них зашел в воду и, довольно далеко отплыв, прощупал дно жердью.

«Ну, как?» — поинтересовались у него с берега.

«Нормально, достаю, — ответил мужик. — Вот только тащить тяжеленько будет — тина! Веревку-то взяли?»

«Привязать хочешь?»

«Конечно! Пусть Иван по берегу идет. Дай ему конец».

Они вытянули бредень из воды, привязали к комлю, в нижней его части, веревку, и один из них, которого они называли Иваном, молодой, немного квелый от водки мужик, направился в обход пруда, волоча за собой противоположный ее конец. Ступал он неуверенно. Взобравшись было на откос, запутался в ивняке, упал, ругаясь, спустился обратно, а с того берега Егор Иваныч с другом, рожа которого светилась, как раскаленная сковорода, матюками подгоняли к воде и без того заплетающиеся ноги собутыльника. У меня отлегло от сердца, когда я заметил, что оттуда ему будет трудно меня разглядеть. Но вот бредень стащили в воду, растянули чуть ли не до середины пруда и, упираясь, медленно двинулись вдоль берегов. Они шли к плотине. «Найдут?».

«Пронесет!» — успокаивал я сам себя. Однако оторвать глаза от бредня было уже невозможно.

Пройдя несколько метров по поверхности воды, поплавки скрылись, тяжесть увеличилась, и мужики, перестав ругаться, только натужно кряхтели, все больше наклоняясь вперед, чтобы преодолеть сопротивление. Следующий десяток метров они осилили со скоростью часовой стрелки, и, выдохнувшись наконец, Егор Иваныч, которому было труднее других, проголосил: «Заводи!». Его послушались. Иван смотал с руки веревку и перебрался ближе к плотине. Бредень, разворачиваясь, начал выплывать на берег. Вслед за пенопластовыми поплавками оказалась сетка, в ней что-то блеснуло, бредень задрожал, и мужики стали поспешать, вновь заговорив, а вскоре перейдя на крик: «Мотню прижимай! Иван, ну

куды ты смотришь? Быстрее, быстрее, тебе говорю! По ногам же стучат!»

Вытянув палки на берег, они побросали их и, ухватившись руками за веревку днища, потянули его на себя, а следом за ним и рукав, туго набитый тиной. Скоро бредень был на берегу. Его вывернули наизнанку, с трудом вытряхнув оттуда скатанное в рулон грязно-зеленое месиво, в котором уже шевелились караси. В этот момент к ним подошла вернувшаяся с авоськой мать. Егор Иваныч облапил ее прямо грязными руками. Она отбрыкнулась. А он, низко заржав, высказался:

«Во рыбалка! Да здесь сразу на два ведра будет, да, Клавк?»

«Свиньи! — вякнула на него мать. — Вы их споласкивайте, что ли! Ваня, дай сюда ведро!»

Она опрокинула перепачканную посудину, зачерпнула воды из пруда и с размаху плеснула на шевелящихся карасей. Рыба сразу заиграла желтыми боками, забились плуце прежнего, а мать все лила воду на кучу с тиной, пока мужики, вынимая из нее рыбешек, складывали их в другое ведро. Мать смеялась, обливая водой и самих рыболовов, они шутливо покрикивали на нее, но видно было, что это и им и ей нравится, поэтому, подтягивая в очередной раз черные трусы, каждый непременно говорил что-нибудь пошло-скабрезное и вызывал тем самым новый взрыв пьяного хохота, грубых добавлений к гадости, сказанной накануне. Они смеялись все вместе, и гогот их был похож на гортанное грациозное карканье, как и шлепки рыбьих хвостов — на тот далекий жуткий день, когда птицы хозяйничали на дне пруда, а я в злобе закладывал стрелу за стрелой на звенящую тетиву.

«А, ты... мать!!» — вскрикнул вдруг Егор Иваныч и разогнулся.

«Чего там, Жор?»

«Черепушка».

Сердце у меня екнуло. «Все-таки наши!» — прошептал я вслух. Но не страх уже, а ярая ненависть, полоснувшая по разгоряченным мозгам, заставила меня

опустить руки, и ветки сомкнулись, отгородив от взора моего все происходящее на том берегу.

Я слышал, как умолк смех, как затихли голоса говоривших. Среди них я различал изредка лишь причитания матери.

Потом возня у бредня стала слышнее. Вероятно, работу они закончили молча, втрое быстрее и ожесточеннее.

Когда все стихло, я подумал было, что мучители мои ушли, однако с противоположного берега вновь послышались голоса. Звякнули стаканы.

«Обмывают, гады!» — сплюнул я на траву и раздвинул ветки.

Устроившись на сухом месте, вся компания закусывала. Они сидели кружком. Водку разливал сам Егор Иванович.

Налив себе, он поднял стакан:

«За Володьку, земля ему пухом!»

Егор Иванович выпил и притих. «Пуцай пожжет!» — вспомнил я его приговору в этом случае. Следом выпили остальные.

«Вот как, ребя!» — говорил он громко, когда стаканы опустошили во второй раз. — Сгинул мужик, а все по пьянке, ты понял? Дурак потому что был. Размазня! Был — и нет! И никто не вспомнит...»

Мать будто очнулась:

«Неправда! Помню я его. Он молодой был веселый. А глаза — зеленые-зеленые... Или голубые?»

«Иди посмотри! — подсказал с насмешкой Егор Иванович, кивая на ворох тины. — А еще «по-омню!» Ни черта ты не помнишь! Я же говорю — был! А теперь — пустое место! и все так...»

«Так уж и все?»

«Все! Я сказал! — он выкрикнул это и потянулся к авоське. Вынув оттуда еще бутылку, он разлил ее по стаканам. — А память у тебя, Клавк, девичья! Ха-ха-ха! — нехорошо, громко засмеялся Егор Иванович. — И как ты ее — ха! ха! ха! — сохранила? А, Клавк?»

«Сволочь ты!»

«Это точно! А почему? Потому что и пить уметь надо! А это другим не нравит-

ся. Ну, не дуйся, не дуйся... Ты гордиться должна, что я тебя девкой назвал! Девки, они — у-ух! Все остальное — ливер! Ливер, ты понял? Ха, ха, ха!»

Опрокинув стакан, мать ничего не ответила, только быстро замахала ладонью у раскрытого рта, и кто-то, по-моему, Иван, дал ей пучок зеленого лука, чтобы помочь протолкнуть ставшую, видно, поперек водку.

Компания все добрела. Припекающее солнце придавливало ее к траве. Голоса переходили во вскрики, прерывающиеся неестественным хохотом, нить разговора уловить становилось все трудней и трудней. Рыбаки по очереди соловели.

Вскоре держащихся относительно прямо осталось двое. Это была мать и тот молодой, Иван. Егор Ивановича и второго его товарища свалил пьяный сон. Я видел, как Иван шевельнул их ногой, даже пригнулся немного, всматриваясь в их лица, а потом уже прямо направился к матери, которая сидела на траве, вытянув широко расставленные ноги и опираясь руками позади себя. Голова ее время от времени падала на грудь, но она поднимала ее, пьяно улыбаясь подходящему к ней Ивану. Тот, качнувшись, повалился на нее. Мать застонала...

Я видел! Я знал об этом и раньше. Не догадывался, а — знал! У нее всегда были горячие ладони, горячие губы. Даже когда у меня случалась температура, и она притрагивалась к моему лбу рукой, она не умела определить, болен я или нет. Все ее тело источало тепло. Я помню, как приятно было садиться на табуретку, на которой она сидела, брать из ее рук хлеб или яблоко. К Новому году она всегда приносила мне яблоки: странно — даже с мороза они казались теплыми. Но потом... Застолье. Новый знакомый... Ночью я укрывал голову подушкой, чтобы ничего не слышать. Яблоки остывали на подоконнике...

«Значит: вот так? — спрашивал я само-

го себя, глядя на два извивающихся тела. Вот солнце, вот мой пруд и вот они. Она — это мать, мамочка. А он? Первый встречный? Что-то похожее на встречный поезд, который с ревом пронесится мимо? Что-то железнодорожное? Диспетчер дал ему зеленый... Проезжай!.. И на спине у него теплые мамины ладошки...»

«Ах, мерзость!» — скрипел я зубами. А мать с Иваном, впившись друг в друга, медленно сползали с откоса, стена, и по скользкому, там где растекалась невысохшая тина, спина матери чертила ядовито-зеленую полосу.

Они бы сползли к самой воде, но что-то их остановило. Обезумевший Иван победно взвопил, движения его ускорились, и если б я только слышал все это, подумал бы, что на соседнем дворе режут бьющуюся свинью. Но я видел! Я видел их, будто предсмертные, судороги и как они неожиданно затихли, и мне показалось, что от тряски рядом с их головами возникла еще одна голова. А следующий их крик, не похожий на все остальные, заставил меня подняться во весь рост, и я понял, что это мне не показалось: они лежали, прижавшись щеками к черепу, и выли теперь от страха.

Я видел! И наслаждение, испытываемое в этот момент мною, было так велико, что я не сдержался и завопил тоже в каком-то нечеловеческом восторге, приподнявшись на сажень от земли. Крик мой был как нельзя кстати: они меня заметили! Меня разглядели даже очнувшиеся Егор Иваныч с другом.

Никогда я больше не видел, чтоб люди так быстро взбирались на гору. И никогда позже я не мог с такой силой кричать на ненавидимых мною людей.

Я помню, грачи взметнулись с гнезд. Дрожь прошла по воде. Березы качнулись. И я услышал, как за мною, за спиной, от чего-то хрустнули ветки. Оглянувшись, я обнаружил, что это Алка. Она прижалась спиной к кустам. Глаза ее были широко раскрыты. Вероятно, все происходящее казалось ей кошмарным сном.

— Это ты? — шепотом спросила она.

— Кричал? — Я.

— А где?! Где? — показала она рукой на мое лицо.

— Что? — Я оцупал себя и, ничего не найдя необыкновенного, хотел приблизиться к ней.

— Не подходи!

— Но почему? — недоумевал я.

Она еще плотнее вжалась в кусты. Осторожно спросила:

— Ты меня видишь?

— Вижу.

— А где... — Алка приподняла палец, но тут же его опустила. — Где твои глаза? Там... темно.

Я оторопел. Ее лицо не могло обманывать.

— Глаза?

— У тебя же нет глаз!

— Как это — нет? А где же они? Что же это?!

Она испугала меня. Проломив ивовые заросли, я бросился к пруду. У самого края воды колени мои подогнулись, я приблизил лицо к поверхности и тут только разглядел, что вместо глаз у меня зияли две черные дыры. Было жутко смотреть на безобразное свое отражение: что-то бледное, расплывчатое и совершенно мертвое. Я ли? Призрак! Пустотелый призрак с длинными, колеблющимися седыми волосами и старческими провалами щек. Беззубая улыбка. Розовые десны. Ускользающие, знакомые чьей-то живущей во мне древней памяти черты утопленника.

В отчаянии ударяю ладонью по воде. Разбегающиеся блики. Зыбь. И вновь схождение.

Кусочки лица собираются вместе. Будто на фотографической пластине проявляются уже мои зеленые глаза.

Вот они! Вот! На месте.

Я возвращаюсь. Наполненный.

Мы сидим с ней рядом. Плечо о плечо. Она немного успокоилась. Рассказывая, я замечаю, как окаменевшие губы смягча-

ются, а взгляд, напротив, становится еще отчужденнее, и, когда в рассказе своем я дохожу до первой Грозы, она опускает веки, готовая опять уйти в беспамятство. Я толкаю ее:

— Не пропадай! — и продолжаю рассказ.

Утро. Мать... Хочу объяснить ей, почему я кричал. Но она останавливает меня. Она говорит о своем. Об отце. О его пьяной жестокости. О жестокости Колчака. Как она ненавидит его. Как она ненавидит всех...

— И меня?

Она не слышит. Она говорит и говорит, чуть поскрипывая зубами. Пучок травы у ее ног в клочья разорван. Голос глух. Взгляд становится горячим.

— Мы похожи, — вставляю я.

Алка поворачивает голову. Видно, что вот так смотреть на меня ей необыкновенно трудно. Она хочет произнести что-нибудь значительное, но с губ срывается:

— Душно, Саня.

— Да.

— Будет...

— Будет гроза, — проговариваю я за нее.

Мы молчим. Дым поднимается из-за леса. Скоро вечер. Солнце уже скатилось нам за спины. Березы розовеют. Поверхность пруда кажется выпуклой. *

Мы молчим.

Она ушла, как только начало темнеть.

Тем вечером я нашел себе союзника, она — оружие мести. Мы договорились встретиться ночью. А пока я должен рассказать о другом.

Так давно, что я уже забыл, почему я это помню, но очень давно, когда леса росли еще там, где они и должны были расти, а реки текли туда, куда им и положено течь, и людей было еще так мало, что они, по слабости своей, ни с теми, ни с другими ничего не могли поделать и, наоборот, не наступали, а только защищались от природы по мере сил, — вот тогда

и родился черт его знает где и от кого один-единственный на всю Землю Богатырь.

Росту он был такого, что докричаться до него с земли не было никакой возможности. Одна ступня у него была с версту с четвертью, а кулак — с хорошую гору.

Потому толку с него никакого не было. За что ни возьмется — или разрушит, или раздавит. Хоть защищать, хоть строить, хоть спасать кого-нибудь — ничего у Богатыря толком не получалось. Обязательно перегнет палку: или невинных загубит, или такого понаделает, что уж лучше и не родиться ему вовсе — горе одно.

И ведь не дурак же был Богатырь — понял, что самое умное: стать на одном месте и не шевелиться, а еще б лучше и не дышать, потому как от дыхания его такой ветер поднимался, что горы разлетались в пыль, а моря, будто чай с блюдечка, выплескивались. Впрочем, поначалу-то он пробовал и топить и голову обо что-нибудь разбить, да только — ясное дело! — не выходило и здесь у него ничего. Слишком он был тверд да велик. Земля для него — что пуховая перина. А попробуй-ка на ней смертоубиться — смех!

Вот он встал себе да простоял так лет с тысячу, если не больше.

Люди, конечно, тем временем на месте не стояли — кое-чему научились, начали строить не там, где придется, а там, где им надо, надевать на себя не что попало, а обязательно по погоде, да потеплей, есть стали не подножный корм да диких зверей, а блюда хоть не изысканные, да питательные. В свободное же время привыкли думать что-нибудь полезное или сочинять, чего никогда не было. Украшать начали бы свой всякими безделицами, поделились на тех, кому всегда должно быть очень приятно жить, а кому — не очень. И чтобы не скучать, собирались сначала иногда, а потом все чаще в стаи и все чаще убивали друг друга по делу, а то и вовсе по мелочам, думая, очевидно, что их уже так много расплодилось, что беспокоиться

за полное уничтожение рода человеческого вроде как и не к чему.

А Богатырь все стоял, все видел и думал, думал, поскольку ему больше ничего не оставалось. Усох даже. Измельчал почти на треть. Злился-злился на людей и в один неподходящий момент не выдержал. И подал голос. «Остановитесь,— говорит,— что ж вы делаете?». А тут мимо как раз мужик на лошади проезжал, вез очередной рати зерна на прокорм. Задрал этот мужик к нему свою нечесаную голову и отвечает: «Воюем,— говорит,— Земли вот на всех мало. А чо?»

«Дурак,— поучает его Богатырь, поднимает аж к самому облаку и показывает: — Посмотри-ка получше — вон ее сколько, на всех хватит. Зачем же убивать друг дружку?». «Так то — не наше. А чтоб наше было, надо,— отвечает мужик,— ее силой взять».

«А ты не бери чужого, если у самого есть что жевать!»

«Я у них не возьму — так они придут и у меня отберут, так проще. А что же я, лысый, что ли?»

«Тогда пойдй и скажи им, чтоб тоже не брала. Вот и будете в мире жить».

«А поймут?»

«Ну, конечно».

Убедил Богатырь мужика. Повернул тот оглобли во вражий стан, а там его не только слушать не стали, но и отобрали все его зерно, а самого на кол посадили. Да и посмеялись впридачу: что за дурак такой?

Тогда рассердился пуще прежнего Богатырь и поднял к себе ихнего воеводу.

«Зачем, говорит, убил ты невинного, что с миром к тебе пришел?»

А воевода ему: «Жалко, конечно, однако, ничего не поделаешь — война. Не мы его, так он нас. Да и жрать очень хочется. А у нас в прошлом году неурожай был. И чем мы его хуже, что он сытый ходит, а мы — голодные?»

«Так попросил бы взаймы! Вы ведь люди, не звери. Надо же делиться друг с другом».

«А поймут они меня?»

«Непременно поймут».

И воеводу Богатырь убедил. Скинул вояка свои доспехи и пришел к тем, кому мужик поначалу зерно вез. Те, правда, его выслушали, однако, покачали головами да и вздернули на березе, на всякий случай, выставив вокруг лагеря двойной заслон.

Вскипел Богатырь от возмущения, поднес к своим глазам ихнего князя и заявляет: «Подлец ты, милый человек! Нет, чтобы поделиться, так, напротив, убиваешь мирного посла!»

«А с какой это стати я с ним делиться буду? — отвечает князь — У нас лет десять назад тоже засуха была, и никто нам не помог. И вообще, он доверия мне не внушал, потому как задушил собственными руками родного моего дедушку, когда тот в поход на них ходил».

«Так надо же и прощать врагам своим,— сказал Богатырь.— Идите-ка, пока не поздно, на мировую».

Князь его послушал и пошел во вражий стан с миром. Его встретили с почестями, все повыспросили, со всем согласились и дали ему в подарок вина на всю его рать в знак примирения. На радостях войско князя опрокинуло по рюмочке, легло на бочок да больше и не встало. Отравили их всех. А враги захватили их земли, разграбили дома и поставили над ними своего князя тоже на всякий случай, чтобы пригляд вести.

И тут уж Богатырь не стерпел. Топнул ногой и провалился со всеми и всем их хозяйством по колено в землю. И притих Богатырь еще не на одну сотню лет. А люди вокруг него шевелились. Леса изрубали, землю перепахали, понастроили каменного, понаделали железного, распозлились по всей необъятной территории и так научились убивать друг дружку, что и вплотную подходить не надо, да еще чужими руками, и не только за то, что необходимо, а в основном, за то, чтобы у тех, у кого и так все было, стало богатств еще больше, а у тех, у кого и на себя-то не

хватало, последнее отобрать. И богов себе понапридумали, которые их на это будто бы благословляли и разрешали ездить сильным на слабых верхом, и чтобы слабый при этом спасибо сильному почаше говаривал. Вот ведь до какой степени обнаглели люди! Сам Богатырь чуть с ума не сошел. А им все мало было. И скоро так слабых заездили и такое их множество вдруг стало по всей земле, что лопнуло наконец великое богатырское терпение. И подал он голос.

«Остановитесь,— говорит,— что ж вы делаете?»

А тут как раз мужик на лошади проезжал, вез барину оброк. Задрал этот мужик к нему свою нечесаную голову и отвечает:

«Страдаем,— говорит,— Земли вот на нас мало. А чо?»

«Дурак,— поучает его Богатырь, поднимает повыше и показывает: — Посмотри-ка; вон ее сколько, на всех хватит. Не сдохнет барин с голоду, если сам на себя попашет».

«Нельзя,— отвечает мужик. — Каждому свое место уготовлено. Мое — на поле, его — во дворце. С богом не поспоришь!»

«А ты плюнь на него. Живи себе да живи. Бога-то нет».

«Плетей дадут».

«А ты пойди да всем скажи, что его нету. Узнают все — и бить некому будет».

«А поверят?»

«Ну, конечно».

Убедил Богатырь мужика. Повернул тот оглобли назад, в деревню. Сказал. Тут его свои же камнями и забили насмерть.

Тогда рассердился пуще прежнего Богатырь и поднял к себе их старосту.

«Зачем,— говорит,— убил ты невинного, что с правдой к тебе пришел?»

А староста ему: «Жалко, конечно, однако ничего не поделаешь — Вера! Не мы б его, так попы порешили б. Да и как жить, коль бога-то нет? В чем утешение?»

«А в справедливости! Разве ж вы хуже барина, что он должен у вас на шее си-

деть? Если все равны будут, на что тогда ваш бог?»

«Значит, все помрем? И никакого рая не будет?»

«Ну, конечно!»

И старосту Богатырь убедил. Потопал тот к барину и выложил ему все, как есть. А барин был ученый, сам это знал. Однако покачал головой и приказал заporоть старосту до смерти, на всякий случай. И вызвал из города отряд конной полиции.

Вскипел Богатырь от возмущения. Поднес его к своим сверкающим очам и заявляет:

«Подлец ты, милый друг! Знаешь ведь все, а человека загубил».

«Ну и правильно,— отвечает барин. — А что ж мне ему за это, вольную, что ли, давать? Да он сам года через три таким же, как я, станет и так же людей пороть начнет, да еще и почаше,— ведь он необразованный».

«Ну, и кто ж виноват?»

«А порядок».

«Так если порядок другой нужен, пойди к царю и скажи. А не то возмутится народ. Возьмет, да и перебьет вас всех, образованных-то! Кто ж тогда цивилизацию вашу сызнова раскрутит?»

«Неужель, еще немного и начнется?»

«Как пить дать,— убеждает его Богатырь. — Иди-ка, пока не поздно, да предотвращай!»

Барин его послушал и пошел к царю с предупреждением. Целый год ждал он приема. Наконец впустили его, и возьми он да и выложи все, как на духу, самому царю-батюшке. Только царь не дурней его был, в политике не с одним университетом разбирался. Согласился со всем, выпроводил, но, однако, решил сослать его лет на тридцать в Сибирь, на всякий случай, а потом передумал и повесил барина принародно, чтоб другим неповадно было, а землю его себе забрал.

И тут уж Богатырь не стерпел. Грохнул кулаком о гору и провалился со всеми царевыми владениями под землю по самую грудь. И притих. Теперь уж не на-

дойго. Лет на сто. Потому как люди к тому времени будто с цепи сорвались.

Леса уж почти все вырубил, Землю чуть не наизнанку вывернули: нефть с нее качают, и уголь, и руду, и все, что можно и чего бы совсем не надо добывать, — изуродовали и горы, и реки, и моря. И возомнили, будто бы они умней самой природы, давай все по-своему переделывать, и все им мало, рвут и мечут, про запас напихивают, обжираются, а все не забывают, у кого послабей последний кусок отобрать. Воевать стали непрерывно то ли от жадности, то ли от ожирения мозгов, да с такой жестокостью, такими жертвами и таким кошмарным оружием, что впору бы им и о Боге напомнить да и пожалеть заодно, что Его-то как раз и нет.

Куда там Богатырю со своими ногами столько смертей да разорений понатоптать! Мочи бы не хватило! И он уж подумал, наглядевшись на эту человеческую катавасию, немного испуганно: скажешь что-нибудь, — как бы самого не порешили, уж лучше промолчу.

И правильно делал. На нем ведь к тому времени много землиросло, а на ней дома, как грибы, повыврастали, и щеки ему обложили кирпичом и редко, правда, но иногда все-таки заходили помолиться под шелом, принимая его раскрытый от удивления зев за церковные ворота. И пробовал он им нашептывать о справедливости, но тут же замолкал, горьким опытом наученный. Чувствовал — у каждого из них свой Бог, да и тот — не дальше личного огорода.

Раз только воспрял он духом, когда нашелся человек, объединивший слабых, вложивший им в руки оружие и уничтоживший старый порядок. Один только раз свободно вздохнул Богатырь, качнувшись на луковке повешенного попа, пожалев последних убитых. Надеялся: новая вера заставит людей жить по справедливости. Но переоценил, видно, суть человеческую. Не рассчитал, что, возносясь, уверует человек не в торжество правды, а в собственную

непогрешимость, ее именем будто бы дарованную. И напишет донос брат на брата. И брата не станет, как не стало бы и тогда, когда обреченных называли не врагами народа, а просто висельниками.

И содрогнулся Богатырь. И взроптал. «Остановитесь, — говорит. — Что ж вы делаете?»

А тут как раз мужик на лошади проезжал, вез сдавать продналог. Задрал он к нему свою остриженную голову и отвечает:

«Работаем, — говорит. — Вот только себе мало остается. А чо?»

«Дурак, — поучает его Богатырь. — Заберись-ка лучше на колокольню, да посмотри, сколько добра вокруг. Коли ум приложить, так не только себе останется, но еще на базар отвезешь».

А мужик ему: «Не-а. Все равно отберут. Так что и голову зря ломать не стоит. И вообще, есть и поумней меня люди. Игде они сейчас? А? Так что уж я помаленьку на щажавелевых протяну».

«А дети?» — спрашивает Богатырь.

«И они дотянут. А потом в город спроводим, там сытней».

«Кто ж хлеб растить будет?»

«Кто поглупее. Пуцдай дураки за бесплатно работают».

«А накормят ли всех дураки-то?»

«Накормят, — машет рукой мужик. — Заводов вон сколько понастроили! — и подмигивает Богатырю. — Техника! Понял?»

Задумался Богатырь и вдруг скрипнул каменной челюстью: «Так получается, что и техникой дураки управлять начнут? Чего же они тогда вырастят?»

«А плевать! Им растить — пусть они и думают! Да и много ли ума надо на кнопки нажимать? Так что на наш век хватит, а там разберутся!»

«С голоду передохнете! Не ты, так дети твои! Иди-ка ты лучше к народу, да скажи, что нельзя дальше так жить. Что неправильно вы живете!»

«Не, — говорит мужик, — не пойду. Чего это я им буду говорить, коли они и так

это знают? Тебе надо, ты и иди. А мое дело маленькое. Я супротив Власти не ходок».

«Значит, ты за то, чтобы все передохли? Против народа?»

«Че-го? — встает на телеге мужик и натягивает вожжи. — Да я и воевал, и строил, и хлеб для него растил! Я за работу, может, похвальную грамоту имею, а ты меня «врагом»?! Да я за всю свою жисть слова супротив не сказал!»

«Вот за это враг ты и есть! — загремел Богатырь, сотрясая на себе дома и леса. — О себе ты печешься, а не о народе! Детей, внуков своих не жалеешь! Иди, пока не поздно, подними голос, образумь людей, собратьев своих! Восстань!»

«Да ты меня не на бунт ли зовешь? — возмутился мужик. — Ах ты, сволочь!!» И так перепоясал Богатыря вожжами, что ушел тот тихо в землю по самые плечи и рот свой прикрыл. Не мог же он, в самом деле, с беззащитным мужиком бороться? Да и как? Ведь с ним заодно и всю деревню, что на плечах стояла, переубеждать бы пришлось. А сил у него на всех уже не было. Обветшал сильно. И чего-то вроде недопонимать стал.

«Тупею!» — подсадовал на себя Богатырь и заплакал.

Конечно, кому не обидно за правду-то оплеухи получать? С тех пор замолчал Богатырь на много лет. Даже шевельнуться боялся. И от постоянных дум и от того, что творилось на его плечах в эти годы, начали видаться ему кошмары. Будто спускается к нему с небес страшными грозowymi ночами Огненный Всадник, смеется над его беспомощностью и наивной добротой и, пользуясь тем, что тот уж не может подняться во весь рост, лупит Богатыря по чем зря стальными молниями. И казалось Богатырю, что это посланник самого Дьявола, ставшего вдруг Хозяином Земли. Ну, если уж и не всей Земли, то Алатеевки. Это точно. Ведь именно она стояла на его плечах...

Когда-то в нашей деревне было около семисот дворов. Люди в них рождались и умирали,

дети занимали дома родителей после их смерти, строили новые, берегли старые, растили хлеб и внуков. Когда-то единственным выходом из этого круга, от места своего рождения, была дорога на погост. Не в нашей, так в соседней деревне. Или — в самую соседнюю деревню. Редко кто из оседлых вырывал себя с корнями и уходил в город. Круг разорвался на моих глазах: люди хлынули в эту прореху, бросая сады и огороды, дома, стариков и старух. Уходили семьями. Сначала — молодежь, позже — люди постарше. И, глядя на ушедших, деревенские не осуждали их — наоборот — понимающе кивали головами: конечно, электричество, водопровод, чистота, а магазинов-то, магазинов! Учись, зарабатывать — чем не жизнь?

Оно и всегда так: течет лучше в ту сторону, куда больше уклон. То время клонило к городу — туда и текло. Напропалую!

Смыло моего отца, смыло мать, смыло и меня самого.

Дома пустели. Огороды зарастали пустырником и лебедой. А прямую дорогу на кладбище перепахали не только потому, что оставшиеся старики стали реже помирать, а еще и в целях расширения пахоты. (Это мне дядя Володя говорил: он, когда выпьет, поговорить любитель.) Так что таскали покойников вкруголя, через лес, где проходила дорога на главную усадьбу.

И стояло кладбище зеленым островом посреди небольшого поля. Высокие деревья загораживали от любопытных глаз кресты и оградки, да и рассмотреть их с полукилометрового расстояния, на которое отступила от него пустеющая деревня, было слишком трудно. Непосвященные принимали его за кусок леса, неизвестно почему забытый всеми живыми. Но, даже попав туда и разобравшись в чем дело, они оставались в недоумении от увиденного. Полное запустение. Трава — в рост. Упавшие кресты. Или память людская стала короче, или уж слишком буйно зарастало все на сдобренной человечиною земле. Ни то, ни другое для них не было от-

кровением. Поверить в такое было тяжко. Поэтому пришельцы старались выбросить из головы всякие домыслы, а с ними и память о заброшенном кладбище.

Похоже, забываются тяжелые сны. Что их помнить, коль ни исправить, ни принять их за реальность попросту невозможно?

А кладбище все-таки жило. Жило своей жизнью, с тех пор как выгнанная со всех задворков, шумная азиатская компания избрала его местом своих ночных сборищ.

Года два назад, как рассказала мне в тот вечер Алка, Колчак поспорил со старшеклассниками, что проведет там ночь. И выиграл.

Они пугали его: бросали камни в грациные гнезда, трясали простыней, обкрученной по кресту, даже кота притаскивали и щипали его, чтобы тот вопил, как сумасшедший. Но Колчак выдержал. Более того: это же испытание он устроил позже каждому из своих ублюдков. Некоторые впадали в истерику. Он их собственноручно избивал за трусость и назначал еще один срок. Кладбищенской ночи не миновал никто.

После этого они устроили там лежбище. Шалаш со свечами. Иконы на растопку. Выкопанные из могилы черепа. Здесь же хранилась гитара, под которую они орали блатные песни, напиваясь украденной Лизиком водкой, закусывали на мраморной надгробной плите (единственной, поставленной каким-то сердобольным начальником своей матери, да, вероятно, тут же о ней и забывшем) и, дуряя, здесь же, на пепелище дрались между собой до первой крови. Судил драки Колчак. Победивший достаивался чести носить за ним его портфель с книгами. Он сам об этом рассказывал Алке. (Вчера ночью, когда она была в этом шалаше вместе с ним. Не первая была, знала. Он и об этом ей рассказывал не стесняясь. Уже после того, как он взял ее.)

Тогда он предложил обмыть случившееся. Алка вышла первой. Но и у него ру-

ки дрожали, когда он подносил стакан к губам. «Это из-за тебя! — сказала она мне. — И еще он говорил, что если я тебя убью, то мне ничего не будет... Что он голову достанет и докажет, за что я тебя убила...»

Она не помнила всего. Она говорила, что ничего не чувствовала и была ко всему безразлична. А он? — он делал все, что хотел. Удары грома, всполохи молний только взвинчивали его. Он набрасывался на нее еще и еще, заставляя пить, смеялся и пил сам. Пока не уснул. Прямо на Алке. Будто клещами сжав руку у запястья. Она показала мне синяки: я осторожно потрогал их. Но она усмехнулась: «Это не больно. Зря он меня держал — я бы все равно никуда не ушла...»

Там, на кладбище, она думала обо мне...

Она признавалась, что думала обо мне очень плохо. Хуже, чем о Колчаке. Потому что он не кривил перед ней душой, — если она у него есть! Это не в школе...

В школе Колчак был отличником, активистом. Его первого приняли в комсомол. И тогда я откровенно завидовал ему, ведь у меня в аттестате было две тройки.

Он любил быть первым, ему потакали в этом, ставили нам в пример. И ни у кого — ни у кого! — не хватало духу сказать о нем правду. Не знаю, как другие, но я боялся расправы. Да, думаю, и не я один.

Учителям же не было до нас никакого дела. Или я не замечал? С ними он был вежлив и предупредителен. К нему прислушивались. Мнение Колчака обо всех школьных делах полностью совпадало с их мнением. И в учебе и в работе он был на голову выше всех нас. А о кладбище знали немногие. Я и сам слышал о нем только в тот вечер от Алки. Если бы не она — наверное, я б и вовсе ничего не узнал...

Мы распрощались с ней ненадолго.

Пошатавшись, она отправилась к свое-

му дому, я — к своему. Но сначала я выбросил в пруд чуть живых рыбешек, а за ними — и голову. Она так просила. Булькнув, Володюшкина голова ушла далеко на дно.

Мать я не застал.

След машины поворачивал за проулок. Вокруг крыльца — примятая подошвами трава и окурки. В доме уже темно.

— Эй, бабунь! — прокричал я, входя в черную комнату. — Хватит прятаться, вылезай!

Тишина. Она с жадностью проглатывает мои слова. Я ступаю по раскиданным тряпкам, не осмеливаясь больше кричать. Бабушки нигде нет. Я обшариваю весь дом, заглядываю даже на чердак и выхожу на улицу, чтобы взглянуть на крышу. Крыша пуста. Впрочем, в темноте я все-таки замечаю, что возле печной трубы что-то шевелится. Я прыгаю и — беру на руки полосатого котенка. Он мурлычет, шерстка электрическими искорками потрескивает в руках. Вокруг полная темнота. Густая, теплая ночь. Пахнет дымом.

Я не спешу покидать крышу ни вверх, ни вниз. Я жду, как и все вокруг, порыва ветра, вослед за которым раздается громовой раскат. Или нет? Конечно, нет, — я жду молнии!

И она вспыхнула первой. Неожиданно и победно. Как ни готовился я к ней, она ослепила меня и обожгла.

Это котенок будто вобрал в себя мгновенное свечение и теперь, разрастаясь, закрутился огненным шаром на руках. Капсула едва спасла мои пальцы. Я попытался сбросить этот шар с крыши, но он завис в воздухе прямо передо мной. Из-за печной трубы, куда мне пришлось спрятаться от жара, я наблюдал, как полыхают синим огнем окаймляющие его протуберанцы, как от самого котенка не осталось уже и следа, и только внутри раскручивающейся огненной спирали изредка мелькали зеленоватые его глаза.

Следующий удар молнии заставил меня

сжаться в комок, потому что он — я тому свидетель! — угодил прямо в середину пылающего сгустка. Тот раскололся. Следом хлынул дождь, — он погасил покотившиеся вниз осколки. А из застрявшей в крыше молнии возникла светящаяся фигура.

Протуберанцы превратились в развевающиеся волосы, поток воды, омывающий их, в огненный плащ, кольчугу и латы; шипел, обволакивая сияющее видение клубами пара, — но, несмотря на все это, я тут же узнал его: это был Всадник.

Он стоял передо мною, огромный и неподвижный, и если б не зеленые, кошачьи глаза, мерцающие фосфорическим огнем, устремленные прямо на меня, круто, сверху вниз, — если б не они, торопящие меня подняться им навстречу, призывающие меня к себе, — я бы принял его за мираж или за порождение своей большой фантазии. А вместо того, я приподнялся на цыпочки и мыслью своей и всем своим телом устремился к этим глазам.

Я взлетел над крышей. С минуту мы смотрели друг на друга: я — обливаясь холодным потом, он — изучая меня, как неведомую букашку. Наконец оба, насытившись, мы взметнулись еще выше, и я не сразу понял, что такова была только его воля. Грязным тюлем мелькнула передо мной пелена дождя, и вот мы уже над ним.

Всадник прилег поверх туч. Я, как послушный солдат, замер под его взором.

— Слушай! — пробасил он, принимая валяжную позу. — Слушай и не перебивай! С сегодняшней ночи ты свободен. Свободен от всего земного. Тебе дарят вечность и свободный полет! Мне поручено передать, что, по желанию твоему, тебе могут предоставить дом, город, даже планету, где ты будешь полным властелином. На, выбирай!

Он протянул мне на огромной ладони две маленькие искорки.

— Что это?

— Теперь это — твои глаза. Ты внутри, как выстрелившая гильза. Поставь

их на место и посмотри вниз. Видишь?

Я сделал, как он просил.

— Вон там, внизу, огонь... Это горит твой дом, в нем сгорает твоё тело. Сегодня ночью там найдут твои кости... Теперь правее, — он показал светящимся пальцем чуть в сторону. — Видишь на дороге две горящие машины?

— Да.

— Присмотрись! В одной из них — твоя мать и бабка... Удирали... Им повезло — они с бензовозом столкнулись... Так что — ты свободен! Радуйся! Все равно теперешние твои глаза не смогут выдавить слезы.

— За что?! — прокричал я, и голос мой прокатился свинцовыми шарами по свинцовым тучам. Всадника закачало, и он улыбнулся.

— О! Я вижу, что ты и не догадываешься, что твоя престарелая бабушка многим ради этого пожертвовала! Хотя теперь и на нее наплевать!.. Так выбирай же.

— Что?!

— Свои владения!

— Я не хочу владеть! Я хочу жить на земле, как все люди!

— Ну, уж это ты, братец, опоздал! Твоя бабуса была очень мудрая женщина: когда она выпрашивала тебе у бога бессмертия, а он ей отказал, знаешь, что она сделала? Она плюнула на икону, перевернула ее обратной стороной и начала молиться... мне. Она знала, что «за так» я ничего не даю, поэтому предложила в залог сразу семь жизней...

— Стой! Дядя Володя... Он был первый?

— Это неважно... Ты выбирай, выбирай!.. Когда я был в твоём возрасте, я выбрал эту планету. Тогда она ещё была горячая и скучная. Теперь намного веселее! А что ещё предстоит! Ты даже себе не представляешь!

Он не на шутку веселился, похлопывал по облакам рукой, высекая новые молнии, и раскатисто хохотал.

— Черт меня возьми, что ты медлишь? Ну, хотя бы вон ту, видишь? Тепленькая планетка, много обещает. Или поправее...

Да не там, та уже занята! Вон, рядом с красной звездой. На ней уже и ползает что-то. Бери!

А я считал. Я лихорадочно считал те семь жизней, и счет у меня не сходился.

— Ну, так — что? — спросил Всадник.

— Не хочу.

— А что же ты хочешь?

— Отдай мне Землю!

— Дудки! Чего захотел! Отдать на самом интересном? Ничего не получится!

— Тогда мою Страну.

— Не-е... Это мое любимое место.

— Ну, область, район, деревню?

— Ты — дурак. Ну, что это: «деревню» — ты глуп! А я-то выдвигал тебя в пророки! Мол, божий дар, надо украсть... Украл себе на голову. Возись теперь с тобой...

Он отвернулся от меня, сделав скучную мину, и безразлично махнул рукой.

— А впрочем, делай, что хочешь! Только я предупреждаю — за деревню ни шагу! Испепелю. И запомни — больше ничего не получишь.

— Я согласен. Только как же я вернусь?

— Скорлупа нужна? Выбирай. Хоть собакой, хоть вороном, хоть человеком, хоть ветром.

— Человеком!

— Каким?

— С собой.

— Послушай, да ты и вправду — глуп! Тебя НЕТ! Понимаешь? НЕ-ТУ!

— Тогда — кем?

— А кем угодно, только живым.

— Хочу Колчаком! Только Колчаком!

— Валия.

— А его самого — куда?

— Никуда — подвинется, у него там места много в голове, да и пригодится на первых порах.

— Это еще зачем?

— Там увидишь. Но только не зарывайся! Бессмертия, я, может быть, тебя лишить и не смогу, но, раз остаешься у меня, — будь послушным. Почувствую что — пригвозжу, как того, что под вашей деревней! Тоже выродок — Верой хотел стать!

Куда там! Плевал я на него, как и все на него плевали... И вот тебе наука: не выпячивайся! Вечно у меня мучиться будешь, как и он... Вот только смерть страшнее придумаю.

— Я не понимаю тебя, Всадник.

— Поймешь. Я таких, как ты, знаю, видел. Ты вот и сейчас думаешь не о том, о чем надо... — зеленые глаза его вспыхнули.

— О чем же? — спросил я с вызовом.

— Ты собираешься мстить и... врешь сам себе! До этого ли тебе будет! Ведь ты счастлив тем уже, что сможешь наконец им стать! Ведь именно об этом ты и мечтал! Не о свободе — об его шкуре?

— Я? Да никогда!

— Рассказывай! Ведь ты же влюблен в него! Ты полжизни готов отдать, чтобы хоть денек побыть Колчаком! Ох, зависть! Видно, в людях ты сильнее любви и боли! Прощай! — рывкнул он на весь небосклон.

— Неправда!! — прокричал я ему вслед, а Всадник в ответ лишь прохохотал.

Сверкающий круп его коня высоко взбрыкивал, мельтеша все мельче и мельче, сходясь в точку, падающую звездой за круглый горизонт.

Когда я вошел в него, он вздрогнул, спичечный коробок выпал из его руки, а пламя взметнулось выше над нашим домом.

Колчак спрятался за ветлой. Прибежавшие на пожар люди и не заметили бы его, если б я ему не приказал выйти на свет, на всеобщее обозрение. Однако внимания на него мало обратили — все были заняты пламенем. С пруда таскали воду. Вебра передавали из рук в руки.

Ему тоже сунули ведро, но он не знал, что с ним делать, видно, почувствовав меня в себе.

«Что это?» — спросил он самого себя.

«Не «что», а «кто». Это я, Чмо. Да не оглядывайся, я сгорел, сгорел. Вернее, моя бывшая скорлупка сгорела. Теперь я буду жить в твоей. Не возражаешь?»

«Я сошел с ума?»

«Да, что-то вроде этого. Но не переживай! Главное — не подавай виду!»

«Я болен. Не надо было... жечь».

«Так это ты?! Скотина! — возмущился я. — Но... Как ты мог?»

«Ненавижу!»

«Полегче. Не забывай — теперь я могу приказывать тебе все что угодно. Даже покончить с собой. Возьми себя в руки, сделай два шага и вылей воду на пламя... Вот так. Теперь еще ведро... И еще. Работай!»

Он делал, как я велел, но, когда подошел к огню слишком близко и обжегся, какое-то предчувствие заставило меня отвести его в сторону. Кажется, шевельнулась жалость. К себе? Нет, за себя мне нечего было бояться...

Колчак вновь спрятался за ветлой. Я оставался в некоторой растерянности. И он этим воспользовался.

«Чмо, ты еще во мне?»

«Да, я здесь».

«Уйдем, прошу тебя!»

И я почему-то позволил ему уйти.

Колчак двигался к кладбищу, скорее всего подчинившись привычке. Двигался тяжело, заторможенно. И когда на полдороге, во тьме на него наткнулась бегущая на пожар Алка, и он поймал ее за руку; когда она забилась, вырываясь, — слова не сразу пришли к нему.

— Не спеши, — с трудом произнес Колчак, выдохнув всей грудью. — Чмо там нет. Он — тут. Он — во мне.

Алка перестала биться и вгляделась в лицо Колчака с надсадным напряжением. Колчак договорил:

— Я сжег его тело, но он не умер. Он вошел в меня. Живой.

«Зачем так сразу? — возмущился я. — Она же не поверит!» — и, торопясь, начал придвигать свои искорки ближе к колчаковским зрачкам. Моля только об этом — чтобы Алка разглядела меня в них.

Но этого не случилось.

Алкины глаза сузились. Она вырвала из

его клешни запястье и хлестко ударила Колчака по лицу.

Потом еще раз и еще.

Колчак не сопротивлялся, только пошатывался в такт ударам. И мне было отчего-то так же больно, как и ему. А он все твердил про себя:

«Милая, милая, милая...

Бей! Я не жалел тебя, нет, я угадывал тебя на год вперед, как плод несозревший, и останавливал руку, оттягивая наслаждение тобою, будущей, трепетной и полнокровной. Я ждал, когда лопнет от распирающих соков бархатная кожа плода и на влажной трещинке появится капля желания, бередящая душу, вселяющая зуд в руки, опьяняющая мозг.

Бей!.. Я уже торжествовал твою боль, твоё отчаянное сопротивление, твою обесиленную покорность и в мыслях своих улетал все дальше, позволяя себе выдумывать муки твои, твою кровь и твой крик, и ты уже сама шла к этому, защищенная мною от других отцовскими побоями, на которые его подталкивал мой отец, спаивающий твоего водкой, и у него же, у пьяного, я вытаскивал из кармана последние деньги, чтобы ты, моя страсть и безумие, не смогла как-то украсить себя и навлечь этим чей-то чужой взгляд, распознавший бы вдруг твою красоту и попытавшийся бы отнять тебя у меня; я заставлял всех оскорблять и унижать твоё имя наравне с самым мерзким и хилым в нашей деревне, с этим Чмо, у которого не хватало даже смелости заплакать от обиды, чтобы не вызвать на себя новые побои, — я сам унижал тебя так, чтобы ни у кого другого не возникло даже малейшего желания встать на твою сторону и вывалиться в твоей грязи, я сам спускал о тебе слухи и сам же за них тебя наказывал, — и многое, многое еще я делал, дабы ты, бирюзовая моя звезда, сияла из этой черноты только мне, только мне...

И так бы оно и было, если б не этот, который сидит сейчас во мне и самодовольно усмехается, если б не этот трус, омерзительный на вид и недалекий умом, если б

он не был так жалок и незаметен, — я бы добился своей цели еще раньше. Но ты выделила его — не меня, его! — выделила из всех, повинаясь своему предназначению, своему состраданию, и во мне вскипела ярость! Мне было за что его ненавидеть!

Ты вспомни, девочка...

Сколько раз он подползал почти на четвереньках под твою руку, выклянчивая ласку? Сколько раз ты погладила его хотя бы взглядом? И не я — он виноват, что за каждый из этих взглядов пришлось расплачиваться не ему одному, но и тебе. Тебе, моя сладкая боль, рана моего сердца!

Вы объединились? Тем хуже!

И однажды, причинив боль ему, я увидел, как это мучает тебя, а он мучается из-за того, что это тебя мучит, и тогда я стал бить, как и ты сейчас, по вашим незащищенным местам, бить, как по клавишам, чтобы в такт этой музыке вы выли от боли, услаждая мой слух до поры, до времени, до того момента, когда я смогу бросить между вашими сближающимися душами горящую головешку. И — время пришло!

Этой весной я понял: плод созрел. И стоит ему сбросить свою грязную, истертую оболочку — твоё старое пальто, девочка, — как спелость выхлестнется наружу, навстречу майскому солнцу, и ничто тебя не удержит рядом со мною. Я видел, как вы цеплялись друг за друга, как подметаемый мусор, как две щепки, вкрутившиеся друг в друга своими загогулинами: одна свежая, смолистая, другая подъеденная древооточидей.

Тогда я пришел в стаю и сказал: «Мы уберем его. Он мешает нам жить».

Я долго наблюдал за ним, я узнал, что он поклоняется пруду перед домом. Он пользовался тем, что этого пруда боялись, и ему казалось: он — полновластный его хозяин. Жалкий урод! Я видел его лицо, когда он глядел на воду!

Еще я узнал, что его раздражают гра-

чи. Ему легче было слушать взвизг ножа по стеклу, чем их карканье.

И план был готов.

Мы подкопали плотину. С паводком из пруда ушла вода. Грачи устроили пиршество. Как я наслаждался, наблюдая за его судорогами, за бессильными попытками как-то прекратить это плотоядное зрелище. Я смеялся над ним, сам задыхаясь от тошнотворного запаха, исходившего от протухшего дна, я не раз наблюдал его сумасшедшую охоту с луком и стрелами, пока сам наконец не подобрал эту стрелу и, внимательно рассмотрев, не положил наконечник в карман. Не зная зачем. Но — счастливый случай! — из разговора моего и твоего отца я узнал, что завтра — именно «завтра»! — плотину будут восстанавливать. И кто же? Твой, на своем бульдозере!

Весь вечер я, как мальчишка, мастерил лук, весь вечер я подбирал камышину постарее, со ржавчиной, чтобы было похоже, будто она лет пять пролежала на чьей-то крыше, и выстрелил я из него всего два раза: в соседскую кошку, твою любимую, — стрела прошила ее насквозь, — и на следующий день — у пруда...

Прوماхнуться было невозможно: я стоял в четырех метрах от кабины, за деревом. Я не рассчитал только одного: что твой отец успеет сделать шаг на вращающуюся гусеницу, а она уже потянет его под себя. Но случилось именно так...

Я испугался! Я видел, как железо разорвало его на несколько кусков, чавкая, будто челюстями, траками, и... не смог донести на Чмо, хотя видел, видел, как он там, наверху, понял, в чем дело. Он раскололся бы при первом допросе...

Да, я струсил! И это мне стоило жизни. Теперь он во мне, мой изъедающий душу червь!

У меня хватило мужества лишь проследить за ними, когда они вернулись на место убийства. Однако голову я откопал лишь неделю назад, — я все надеялся, что он сохнет там, в больнице, но вошь трудно раздавить на мягком... Он вернулся.

Другой. Я почувствовал это при первой же встрече. Надо было спешить, чтобы взять тебя, бирюзовая моя звезда, и я рад, я очень рад, что хоть это мне удалось исполнить! А чтобы доказать, что я еще силен, я решил уничтожить его, даже ценой собственной жизни.

Я пришел ночью. Запер окна и двери. Закрыв ставни. Облил дом бензином и поджег...

А ему даже не было больно!!

Но сейчас... Бей! Бей! Пусть почувствует! Ну же! Сильнее!!»

Девчонка выдохлась и опустила дрожащие руки. Слезы стояли в ее глазах. Тогда он заговорил вслух.

— Если бы не ты, ничего бы не было.

— Чего? — осторожно спросила она, вся подобравшись.

— Ни бульдозера, ни стрелы, ни пожара.

«Не надо!» — одернул я Колчака изнутри, но он не откликнулся. Ему не до меня было.

— Не уходи! — остановил он попятившуюся от него Алку. — Я расскажу тебе... Володюшку твоего, пьянь поганую, я порешил... Сколько ж можно на мученья твои смотреть? А Чмо — да разве б он попал? Да у него сил бы не хватило, у чахоточного! А ты и поверила... Поверила ведь?

— Отца? Ты? — Алка отступила на шаг.

— Страшно? А чего же бояться? Пусть даже он убил, пусть! Зато теперь я за тебя расплатился... — он кивнул головой на пожарище за спиной. — Грех на себя взял. Что? Опять нехорошо?

— Замолчи!

— Ну уж нет! А сама-то? Ножом! Забыла? И за кого... Ведь он такой же тебе отец, как и мне! Ну? Бей! Иль не знала? Да вся Алатеевка подтвердит...

Алка остолбенела.

Я, испугавшись за нее, лишил Колчака голоса, и тот зашипел, как змея.

«Уходи! — мысленно просил я Алку. — Чего же ты ждешь? Как ты можешь смотреть на него? слушать? Уходи!»

Но она все стояла, всматриваясь в брызжущего слюной безголосого Колчака. И — странно! — негодование на ее лице постепенно перешло в удивление, а когда Колчак закашлялся, схватившись за горло, она подошла к нему вплотную и тихо спросила:

— Кто ты? Ты — не Колчак!

И только тут я неожиданно осознал, что Колчака действительно не было, что это я играл под него и разговаривал и с ней и сам с собой и что Колчак никогда и ни за что бы так не поступил. Я почувствовал себя предателем. Заставил Колчака отвернуться, а тот покраснел от стыда за меня.

«Ну скажи же что-нибудь! Сам!»

«Не хочу», — ответил мне Колчак. — Ты уже все опоганил... И радуйся, — она, как жетса, тебя узнала».

Это было правдой. Алкины глаза налились знакомой мне жалостью. Но я не хотел, не мог их видеть такими.

— Кто ты? — спросила она еще раз.

Я лихорадочно искал у Колчака поддержки, но тот бездействовал. Тогда ноги сами подогнулись, и я, как и раньше, закрыл ладонями лицо — от страха.

А она не ударила. Положила мне руки на плечи:

— Саня, зачем ты это сделал? Как же ты жить теперь будешь?

Не ответив ей, я разогнул колени и молча двинулся к кладбищу. Алка засеменила вслед.

«Торопись, торопись, Чмо, — подначивал изнутри Колчак. — Я никогда на лежбище не опаздывал. И что ты собираешься со стаей делать?»

«Передушу, уничтожу...»

«Не жалко! давай! Только за деревню нельзя тебе выходить, Всадник предупреждал...»

«Плывать я хотел на твоего Всадника!.. Стой! А откуда ты знаешь?»

Я вздрогнул. Остановился. Сзади меня догнала Алка, взяла за руку.

— А откуда ты знаешь, что мой отец — это и.. твой отец?

«И правда, — подумал, занятый другим. — Как это у меня вырвалось?»

«Да не вырвалось, — тут же влез в мысли Колчак. — Просто теперь ты знаешь все, что знаю я».

«А ты — все, что было со мной?»

«Знаю».

Алка настойчиво требовала ответа. Я рылся в памяти Колчака, а когда добрался до главного, содрогнулся...

Прошлое... Двор. Снег. За освещенными окнами дома — пьяная песня. В углу под навесом — двое. Смутно узнаваемый голос отца: «Ох, и сладка ж ты, Катерина, как пенки на молоке!» А в ответ — глухое постанывание Алкиной матери.

Это видение стирается другим.

В сенцах — темень. У ларя под лестницей на чердак — еще пара. Два тяжелых дыхания. «Ой, озорник!» — повизгивает женщина. И вдруг Володюшка голосом отца ей отвечает: «Тише, Клава, тише...»

А из-за двери, из комнаты — та же самая песня: «У меня жена-раскрасавица...» — высоко, с подвывом, голосит всезнающий колхозный бухгалтер, колчаковский папаша...

Алка приводит меня в себя:

— Значит, правда? То, что ты сейчас сказал...

— Я говорил? — отказываюсь, гляжу на нее: Боже, она поняла! Как? Почему? Неужели я бормотал это вслух?

«Не ты, — подсказывает Колчак. — Я повторял ей все, что ты думал».

«Подонки!» — отзывается я, скрипнув его зубами.

Но деваться уже некуда. Видно, что по моему лицу Алка определила, — «правда!» — и теперь договаривает:

— Я всегда чувствовала — он не мог просто так издеваться! Он не хотел быть моим отцом! Он вообще не хотел быть...

— А я так хотел, чтобы он им был, моим отцом, — вырывается у меня. — Теперь мне кажется, что я это чувствовал...

— Что ты знаешь! — приближается Ал-

ка.— Это он с тобой сюсюкался! А с нами? А с мамой?

— Меня тоже били.

— Кто? Колчак? Так ты ему хоть в морду мог плюнуть! А отцу — плюнул бы? Ведь мы же любили его! И он любил, до слез... Плачет и бьет... И бьет! Понимаешь?

— Не понимаю.

— И я не-по-ни-ма-ю... — она растягивает слова, задумывается и разом остывает: — Но теперь уже все равно... Идем! — дергает меня за рукав.

— Куда?

— К отцу, — выдыхает Алка.

Я повинуюсь ей, а Колчак внутри меня усмехается: «Угробил папашу, Чмо? На сестренку теперь позарился? Валяй, валяй, на могилках-то трава мягкая...»

Кадило туманом в ту ночь по плечам Богатыря. Жгло пожарником рану. И ведро за ведром вычерпывалось алатеевцами на этот небесный огонь Смыгаловский пруд. Пламя обращало воду в пар. Туман становился все гуще. Смешиваясь с дымом и паром, он расплзался по окрестностям, придавливая нас к земле. И мы с Алкой тонули в нем, и ночи, казалось, не будет конца.

— Земля стонет, — сказала Алка.

Я не стал ее переубеждать.

Нескоро где-то впереди смутно обозначились деревья кладбища, а чуть позже до слуха донеслись голоса колчаковской стаи.

Алка провела меня через заросли к логову. Не дойдя, вздрогнула и остановилась. Я поднял глаза.

На могиле — Володюшки? — горел костер. Рядом с ним валялось обугленное тело Чемодурихи, азиатские восседали кругом. А сверху надо всеми глыбой нависла огромная фигура Всадника.

«Что? Выкусил?» — посмеялся надо мною Колчак. Я не отвечал ему. Я слушал.

— ...Теперь последнее, — вещал Всад-

ник, подавив жестом ропот стаи. — Он не просто жив. Он вошел в оболочку Колчака и должен стать отныне вашим Князем... Спокойно! За это не одной жизнью уплачено! Эй, Чемодуриха, подтверди!

Обугленный труп бабки чуть заметно кивнул головой.

Азиатские присмирели.

— И еще, — Всадник слегка улыбнулся. — Когда пруд вычерпают и доберутся до Володюшкиной головы, пламя не погаснет, а спрячется под дерн. От церкви и от дома все торфяники выгорят, и Алатеевка провалится под землю. Торопитесь. Берите все, что пожелаете. Но помните: вас самих спасать никто не будет.

— Такса? — спросил Хляба.

— Как договорились, — прогремел Всадник. — Семь к одному, — за каждые семь душ — новую оболочку. Которую выберете. Цари, князья — что понравится.

На этих словах Лизик заерзал и пропичал:

— Несправедливо! Кто послабее, тому скидочка должна быть! Души на две...

— Без скидок! — объявил Всадник. — Или передумали?

— Хорошо, хорошо, — поторопился согласиться за всех Хляба. — А вот если я тоже захочу — в Колчака?

— Или я?! — подскочил Лежа Карась.

— Нет, — Всадник покачал огромной головой. — Ему известно, что только за Алатеевкой — его гибель. Выйти за этот круг он не рискнет.

— Но ведь Алатеевки не будет! — быстро сообразил кто-то из Салтыков.

— Будет — не будет... — усмехнулся Всадник. — Он умеет летать! А вы? Не провалитесь?

— К черту! — выкрикнул Хляба. — За сколько душ его будешь считать? За две?

— За семь! За него было семь отдано.

Азиатские подпрыгнули от нетерпения, а Всадник снисходительно улыбнулся:

— Так если вы его... Кто же переселится в мертвого? Кто же захочет умирать, даже Колчаком?

Он захохотал. Но азиатские отнеслись к

его словам с необыкновенным интересом. Какое-то время они сидели оглушенные, потом зашевелились. Первым молчание прервал Хляба.

— Я согласен.

Все повернулись к нему. Всадник поперхнулся на полувздохе. Хляба повторил:

— Я согласен умереть Колчаком.

— Кто еще? — спросил Всадник после тяжелой паузы и, увидев, как вся стая начала пожирать его глазами, остановил вопль жаждущих войти в Колчаковскую шкуру: — Довольно!! Не то вы прямо сейчас перегрызете друг другу глотки! Черт с вами! Деритесь! Первому достанется все! Все!

Кладбищенская тишина взорвалась.

Азийские от восторга ринулись в дикий пляс вокруг пламени. Они выкрикивали это «Всё!» хором, взбрыкивали и громко клацали зубами. Всадник, глядя на них, увлекся, зеленые глаза небожителя торопились вспыхивать в такт подергиваниям стаи, а Чемодуриха между тем переваливалась под шумок с боку на бок и, выкатившись наконец из освещенного круга, начала приближаться к нам. Всадник или не видел, или не хотел замечать ее движения, и бабка, откатываясь все дальше, скоро оказалась у моих ног.

Я нагнулся над ней: «Бабунечка!»

— Сашенька, проснись! — умоляла она меня. — Ведь не может все это твориться на свете божьем! Проснись, нучек! Приди в СЕБЯ!

— Я не сплю, — ответил я ей. — Мы пришили расплатиться, и мы расплатимся с ними. За нее, за себя, за тебя, бабушка... Уж теперь у меня хватит силы на это!

Я попытался сделать шаг к стае, но Алка остановила меня:

— Подожди. Прежде чем мы умрем, я хочу узнать: кто мой отец? Володюшка? Или сын твой?

— А он и есть мой младшенький, Володюшка... Отец ваш, — чуть слышно прошептала Чемодуриха. — Что же теперь молчать? И они все, — она кивнула голо-

вой в сторону стаи, — они — тоже его, мои внуки. Всадник чужих жизней не берет!

— Ка-ак?! — ахнули мы в один голос с Алкой.

— Так вот. Любили Володюшку по молодости. И он любил. Хвалился даже мне: где Салтычиху поймал, где Марусю Хлябову, где Лизу... А застала его как-то с Клавкой, накричала: на братову жену позарился! мало чужих-то жен? — и прокляла! Отреклась, из дому выгнала... А как ты родился, Сашенька, убогий, сразу поняла чей! Говорить и ей и ему запретила и не жалела потом: вовсе спились окаянные. Из себя выжили! В разнос пошли, что мать твою, что Володюшка: обозлился на весь свет, не видел и не помнил ничего, измывался над сердцем своим, лютовал, никого не падал — будто смерти выискивал. Нашёл... от тебя! Может, и справедливо. Вот только и я, чую, следом... Велика ж цена вышла за жизнь твою благостную, Саня! Ведь один ты чист оставался, а не захотел воли-то... Ишь какую шкуру напялил! Убивать пришел? Очнись! Ведь и они все — братья твои! Все Володины детки! Убогие!! Уж я-то знаю...

— Не-е-ет! — закричал я, не дослушав, вырываясь из Алкиных рук. — Нет!

И на голос мой азийские обернулись, сделали стойку и бросились на нас. Я взвился над кладбищем. Всадник тут же разогнул ноги и возвысился громадой между небом и мною. Я не осмелился взглянуть в его хищные глаза. Отпрянул. А он протянул руки, пытаюсь прихлопнуть меня, как муху, между ладонями, но я чудом увернулся и нырнул в туман — назад, к земле, к Алатеевке, к своему заколдованному кругу.

«Боже! — дрожало у меня все внутри. — Что же это? Значит, я желал... свою сестру? А братья издевались надо мною? И сейчас бегут, бегут охотиться на меня, отказавшись стать царями? Чтобы просто сдохнуть в Колчаковской скорлупе? Боже! Так ведь я сам влез в нее ради... Да

ради самой скорлупы! Цари далеко, а Колчак, вот он, всемогущий Колчак рядом! Значит, Всадник все знал? А бабка? Выходит, она продана за мою прежнюю жизнь? Да к чему она мне была, эдакая жизнь? Кем я был? Летающим уродом? А теперь? Теперь я — Колчак! Они у меня все еще не так попляшут! Уж теперь я расплачусь! С кем?!.. Боже! Что это я? И куда я лечу?»

Я умерил прыть и скоро вовсе остановился, окутанный плотным туманом. Откуда-то сверху Всадник пронзал его молниями, пытаясь попасть в меня. Надо было решать, что делать: на кладбище осталась Алка с Чемодурихой, стая, верно, уже занялась ими. Измучившись, я позвал Колчака. Он предательски смолчал. И тогда я подумал:

«Чего я добьюсь? Смерти? Если стая уже поймала их на кладбище, то они мертвы. Теперь азиатские гонятся за мной. Положим, убьют. Кто тогда выручит остальных? Некому...»

Молния полыхнула совсем рядом, так что волосы на голове затрещали. Я присел.

«Провалится Алатеевка! Где тогда и кем я стану? Без Алатеевки я — не Колчак, не Чмо — никто! Призрак! Как тот, что на дне пруда. Царь огромной ямы, выхода из которой нет... Нет! Нет!! Собою кормить никого не буду!»

«И правильно, — очнулся Колчак. — Валий в деревню! Там ты — неуязвим!»

«Я спасу ее!»

«Конечно, спасешь. И шкуру тоже».

«Заткнись! Я... Я подниму Богатыря!»

Я подниму Богатыря!

Вот — решение!

И я полетел низко, в полосе тумана, движимый этой мыслью, уклоняясь от молний и чего-то еще, о чем знал Колчак и чего не желал знать я.

Я опоздал.

На месте пожарища дымились оставшиеся угли. Пруд был уже вычерпан до дна.

Чуть в стороне, у ветлы, молча стояли алатеевцы с пустыми ведрами.

Я протиснулся в толпу.

Володюшкина голова смотрела с земли на собравшихся, как живая. Смотрела и на меня. Внутри все смешалось от этого жуткого взгляда. Планы мои разлетелись в прах.

Кто-то нагнулся и вынул обломок стрелы из уха.

— Не твоя?

— Моя, — ответил за меня Колчак.

Тогда другой пнул пустую канистру из-под бензина.

— Тоже твоя?

— Моя, — ответил я за Колчака.

Заторможенного, меня схватили и насильно подтащили к головешке, которая вечером была моей скорлупой.

— И это — ты?!

— Я! Я! — прокричали мы с Колчаком по очереди.

— Выродок! — раздалось из толпы. — Убийца!

Чьи-то руки потянулись ко мне, к моему горлу, — к горлу Колчака. Их отпихнули другие руки. Алатеевцы начали подталкивать меня к ветле. Откуда-то взялась веревка. Прижатый спиной к стволу, скоро я был опутан ею. И только когда к ногам моим посыпались головешки, а следом — недогоревшие остатки дома, я закричал:

— Сумасшедшие! Вы ничего не поняли! Я — не Колчак!

Но алатеевцы молча продолжали работу.

— Богатырь! — возопил тогда я. — Восстань! Вразуми, защити их! Куда же ты смотришь?

И он услышал.

Молнии засверкали чаще. Где-то у церкви дрогнула земля. Но люди, ослепленные мстостью, приняли это движение за удары грома, продолжая раскладывать костер подо мной. А я все кричал, торопил. Всматриваясь во тьму, я уже начал различать, как вырастает из земли что-то черное, огромное. Я уже представлял себе, как красноватые торфяные осыпи низ-

вергаются с опаленного черепа Богатыря, и из земли появляется Богатырское плечо, и падают, будто спичечные коробки, с этого плеча азийские дома. И наконец увидел — так оно и было, потому что с другой стороны горизонта сверкнуло копье, и, все нарастая, разгоняясь, заполняя пространство грохотом, двинулся на Богатыря Всадник.

Я затаил дыхание, заметив вдруг, как из-под копыт коня разлетелась в стороны потоптанная стая, как среди них мельнуло светлое платье Алки и распростертая тень Чемодурихи. Но это было уже не главным.

Даже всплеск огня под ногами и нестерпимый жар, охвативший их, не могли отвлечь меня от ожидаемого столкновения.

— Восстань!! — призвал я Богатыря в последний раз.

И вот они спшиблись.

Удар. Вспышка. Разверзнувшаяся темнота.

Все проваливается в нее.

И я проваливаюсь куда-то вниз, в эту тьму. Я падаю. Или лечу? Нет, — я лечу! Это ноги Колчака пожирает небесный

огонь. И это не я, а он, он кричит: «БОЛЬНО!».

— Больно! — слышу я свой голос.

В палате зажигают свет. Режет веки, но я все равно поднимаю их. Дверь в коридор снежно искрится, и сестричка мягкими пальчиками держит меня за руку.

Ночь. За окном — гроза.

На тумбочке, на мятой газете — яблоки.

Сестричка, перехватив взгляд, берет и протягивает мне одно, самое румяное.

— Хочешь? Съешь, успокойся...

Но я перевожу взгляд на газету и уже в который раз читаю там, на надорванном уголке: «...в результате возникших из-за засухи лесных пожаров в районе села Алатеевка произошло возгорание торфа. Причины последовавшего за этим взрыва расследуются. Разрушения незначительны. Человеческих жертв нет».

Все кончено?

Нет, не может быть! И в который уже раз я прошу у сестрички зеркало. Она наготове, протягивает его мне.

Я долго рассматриваю свое лицо. И медленно закрываю глаза...

Александр Раевский

ТАИНА

Думал парень, думал —
Трах судьбою об пол! —
Да с размаху в омут —
Не сыскать вовек...
Что ж такое думал,
Что ж такое понял,
Где, скажи, воскрес ты,
Русский человек?..

1920 ГОД

С крыши лает пулемет.
За деревню бой идет.
«Делят нас, считай, всю вёсну...» —
В погребках ворчит народ.

Время сеять да пахать,
А не саблями махать.
Вылез дед из подземелья
И — худобу запрягать...

С-под плети хрипательный крик:
— Братцы, чокнулся старик!
Прятайся, мать твою в куделю!..
Дед к такому не привык.

Сам в сердцах ругнул стрелка...
Препиралися пока,
Тут и пуля пропорхнула —
Остудила старика.

А который за плетнем,
И вздохнуть не смог о нем:
Вскоре сам в бурьян уткнулся
И растоптан был конем...

Да. И небо, и весна!
Но гражданская война.
И ложатся в землю люди —
Плевелы? Семена?..

КОЛЧАКОВЕЦ

Хватились прятать... опоздали.
В светелку с ружьями вошли.
Запомнил: женщины рыдали
И за солдатами ползли.
В рукав никак не попадая,
Еще заметил: у отца
Рвалась от кашля грудь худая...
В углу шарahalась овца...

В обозе выдали погоны,
Винтарь, буханку на двоих.
И в степь рванули от погони —
Кто на рысях, кто на своих...
Скрипело, фыркало, визжало,
Команды,
стоны,
матерки —
Святое воинство бежало
Куда-то за материки.

Сжимал он мерзлую винтовку,
А в ошарашенном мозгу
Стучала мысль: «До лесу только,
И ну вас к лешему — сбегу!»
...Их вскоре встретили атакой, —
Пошла, родимая, гулять!..
Поручик злой: — Стреляй, собака!
Куда стрелять? Зачем стрелять?
Так и застыл он в тех сугробах, —
Поручик вытянул клинком...
А сына с детства и до гроба
В деревне звали «беляком».

ЦВЕТОК ПОДЗЕМЕЛЬЯ

И никто-то тебя не заманивал
В лабиринты, где трубы сипят.
И никто-то тебя не обманывал —
Ты сама обманула себя.

Обурелая, неумелая,
Приняв в голову марафет,
Грудки вытряхнула недоспелые —
Все неполных тринадцать лет.

Словно с дерева
 рвали плавочки,
Расстилали гнилой матрас...
Закачалась тусклой лампочкой
Вся действительность без прикрас.

Замки с башнями да с оградами
В прах рассыпались по песку;
И никто на тебя не загадывал,
Просто дергали по лепестку.

Этих мальчиков ты по пальчикам
Все пыталась пересчитать;
Тебе пить потом по подвальчикам,
Им же зону потом топтать.

Раз разденешься — не оденешься,
Беспощадный закон таков:
Покатилась жизнь тусклой денежкой —
Не останется лепестков...

Не найдя в мечтах
 синей лесенки
До высокой своей любви,
Начала ты с подвальной плесени,
С дыма, вермута и крови.

И никто-то тебя не заманивал
В лабиринты, где трубы сипят.
И никто-то тебя не обманывал —
Ты сама обманула себя.

ДЕВИЧИЙ КУСТ

Он снится: то шальной,
 то молчаливый,
А все тропинки вечность замела...
Не модница черемуха, а ива
Его на божий свет произвела.

Бесхитростная жрица глухоты,
Простая баба, знала бы она,
Как сын ее таинственно-туманен!
Какая сила первенцу дана!

Его листва — для всех вода живая,
Но только те к нему находят путь,
Кто, с детством и мечтой
 не расставаясь,
Через забвенье смог перешагнуть.

Он знает все: куда уходит ветер,
О чем молчат полночные цветы,
И кто есть мы на этом самом свете,
И в чем секрет добра и красоты.

Философ юный! В долгий час заката
Стоит себе в сиреновом дыму...
По тихим росам, по траве не мятой
Придет однажды девушка к нему.

Она придет, она придет, я знаю
И верю потому, что сам люблю.
Веди, судьба, веди меня до края...
А за черту я сам
Переступлю.

БЕЗ ЛЮБОВИ ПРОЖИТЬ МОЖНО

РАССКАЗ

Если бы она пришла днем, как обещала, и покормила его, он ни за что не полез бы на эту полку и не уронил эту банку. Да и не ронял он ее вовсе. Даже не притронулся ни капельки. Сама урони-лась.

Как все было? Утром она проспала на работу (она часто просыпала), подхвати-лась, побежала по комнате, топоча го-лыми пятками, отчего он и проснулся. Ухо-дя, она наказала ему, чтобы ел в кастрю-ле картошку и пил чай на плитке. В обед прискочит, принесет чего-нибудь. Но что-бы плитку включать не смел. «Руки оде-ру!» — пригрозила уже с порога, и дверь за ней захлопнулась.

Она спросонок забыла: картошку он доел еще вчера. Сейчас он выскреб лож-кой пригорелые остатки, попил холодного чаю и занялся игрушками. Их у него было много. Во-первых, толстая пластмассовая рыба-кит (такая толстая, что могла быть и барабаном, если колотить по ней чем-ни-будь), во-вторых, железная корзина из-под бутылок. Эта тяжелая штукавина мо-гла быть чем угодно, но лучше всего са-мосвалом; по крайней мере, громыхала по полу, когда потащишь, ну прямо насто-ящий самосвал. Потом — два колесика и к ним обломок лыжной палки с наконеч-ником. Колеса надевались на палку, а можно было катать и так. Ну и еще кое-что. Например, старый резиновый мяч. Ес-ли выдавить из него воздух и, сплюсну-тый, надеть на голову, то мяч сам наду-ется и спрыгнет, как живой.

Однако играть что-то не хотелось. Он посмотрел на стрелки часов. Она придет, когда обе стрелки соединятся в самом вер-ху. Сейчас до верха еще вон сколько. На стрелки долго смотреть не стал, знал по опыту: когдамотришь долго, они переста-ют двигаться.

Он решил погулять по двору, за преде-лы которого ему также выходить под стра-хом наказания запрещалось. Деревянный дом их стоял в ряду улицы, зажатой дву-мя пригородными дорогами. С одной сто-роны день и ночь гремели поезда, с дру-гой — с ревом и дымом устрашающе про-носились машины. От больших домов за переездом часто долетали гулкие ритмиче-ские вздохи свай-бабы: ох! ох!

Внизу за огородом, заросшим лебедой и пушистым чертополохом, протекал ру-чей. К нему подходить тоже нельзя («Уз-наю, возьму прут, бока налуплю!»). Но он подходил, конечно. Из-за мути уголь-ного шлама дно не просматривалось, от-чего ручей казался глубоким, жутковато-пугающим и в то же время маяющим.

Однажды он не удержался, забрел в не-го по колено, долго, завороженно смотрел на быструю щекочущую воду — закружи-лась голова, и он упал на четвереньки, едва не захлебнулся при этом. Выполз на берег, и его тут же стало тошнить. Он не понимал, что с ним, сильно напугался, уполз в огородную траву, там долго ле-жал.

К враждебности рычащих по дороге са-мосвалов, острых камней шлама во дворе

прибавилась враждебность ручья...

Двор — маленький, голый, с белесой от придорожной пыли травкой и белесыми же сникшими головками одуванчиков вдоль ограды из кривых штакетин. В дальнем конце приткнулась большая, сбита из досок собачья конура. Стояла она тут давно, с тех пор как он помнит себя. В ней обитал прибрудный пес — большой, под стать будке, и, должно быть, старый, со слезящимися глазами, весь в пучках линялой шерсти, по кличке Пират.

Он изредка выносил ему кусочек хлеба или картофелину. Пират одним махом сглатывал подношение, и чувство голода от этих скромных угощений только обострялось. Но все равно Пират был в лучшем положении, чем он. Если псу становилось совсем невмоготу, он смог сбежать на промысел к большим домам за переездом, к мусорным бакам во дворах. Это если зимой. А летом, кроме того, порыть мышей в огороде. Вот и сейчас Пирата в конуре не было, значит, промышляет.

Он подошел к ограде. У него была большая, не по тщедушному телу голова, с оттопыренными ушами. Он сунул голову меж двух разошедшихся штакетин — куда пролазила — стал глядеть на улицу. Машины проносились, вздувая и волоча облака пыли. Мимо по обочине, как бы крадучись, пробегали изредка прохожие. Машин было много, а людей мало, лучше бы наоборот.

Вот показалась высокая голенастая девочка с пластиковым ярким пакетом в руке. Сквозь пластик просвечивали яблоки.

Он протянул из штакетника растопыренную пятерню. Девочка удивленно посмотрела, остановилась нерешительно, достала из пакета яблоко. Он молча схватил его грязной лапкой.

Девочка наклонилась к нему, большеголовому, смешному, в обвисших, как лягушачья кожа, колготках, назидательно спросила:

— А что нужно при этом сказать?

Он на всякий случай быстро надкусил яблоко, чтобы не отобрала, стал жевать.

— Ты не знаешь, что при этом нужно сказать? — противным голосом повторила она с улыбкой. — Ай-яй-яй!

— Стерва, — сказал он набитым ртом. — Я тебе всю морду побью.

Высокая девочка ужасно покраснела, оглянулась зачем-то по сторонам — торопливо ушла.

Вскоре прошагали два больших дядьки, громко разговаривали, его за штакетником они даже не заметили. Долго обочина пустовала, только страшно рычащие самосвалы взад-вперед проносились, сорили на дорогу то углем, то гравием. Когда же с ним поравнялась толстая бабка в белом платке (шла медленно, с одышкой, несла хозяйственную сумку неизвестно с чем), он снова требовательно протянул руку.

— Чего тебе? — спросила та, приостановившись.

— Дай! — сказал он.

— Что? — не понимала старая.

— Дай! — он сжал пальцы в кулачок и снова разжал, что, вероятно, должно было означать: «Чего тут непонятного? Чего есть!»

Бабка покачала горестно головой, долго искала в сумке. Вынула из ее недр пачку фруктовых вафель. Горбатым неуклюжим пальцем стала расковыривать обертку бормоча: «Сичас, милый, сичас...»

Делала она это так ужасно медленно, что он, танцуя от нетерпения, успел просунуться сквозь штакетин, дотянулся и вдруг выхватил из бабкиной слабой руки всю пачку. Обдирая уши, рванулся назад, отбежал в глубину двора, не забывая поддергивать на ходу сползающие с голой попы колготки. Но побежал не в дом, а шмыгнув в огород за домом, спрятался там в бурьяне.

Убедившись, что бабка за ним не погналась, он разорвал обертку и стал жадно хрумать — вафлю за вафлей. На этот хрум откуда-то из бурьянных зарослей высунулся Пират, нос в земле, помахиwав хвостом, так что сзади шевелился бурьян. Он же, энергично жуя, думал при этом:

дать Пирату кусочек или нет? А когда все-таки решил дать, то уже все вафли до одной были съедены.

Сильно захотелось пить. Прокравшись в дом (вдруг бабка из-за ограды караулит!), он напился воды из ведра и сел в углу среди своих игрушек: двух колес, лыжной палки, корзины, рваного резинового мяча. Вскоре его сморил сон, и он уснул где сидел, головой на толстую рыбу.

Проснувшись, он первым делом глянул на часы и огорчился: она давно уже должна прийти и вот нету и нету. Болело ухо, поцарапанное о штакетину, да это пустяки, у него всегда чего-нибудь болело. То коленку сдерет, то наступит на острый камень шлага, а то и затылком об пол трахнет (он часто падал — ни от чего, просто так. Должно быть, голова перетягивала).

Теперь снова захотелось есть, да так сильно, что если бы не липкие ладошки, то он бы решил: вафли ему только приснились.

Над кухонным столом висел шкафчик, задернутый марлевой тряпичей. Он знал — в нем, этом шкафчике, никогда ничего не бывает, одни шуршащие тараканы. И все же решил проверить: вдруг да есть? Встав коленками на стол, он потянул марлю, которая зацепилась за что-то, дернул.

Тут-то с полки и грохнула пузатая банка, ударилась о стол, с ужасным звяком раскололась на мелкиедребезги. Вонючая мутная жидкость оплеснула ему колени, потекла певучими громкими струйками на пол. Он в испуге отбежал, спрятался за шифоньер.

Она пришла поздно, в первых сумерках. Широко, на весь проем, распахнула со стуком дверь, замазала на пороге, ухватившись за косяк.

Он, лежавший одетым в своей кровати, сжался, потому что понял: пьяная.

Была она в широкой рабочей куртке и штанах, обрызганным известью, — значит, опять забыла переодеться. В руке обвисшая сетка с горсткой яиц. Сетка стучалась о порог, и из нее текло.

— Где ты... — бормотала она, шлепая по стене ладонью, добираясь до выключателя. — Где ты, моя радость?..

Он в кровати тихо заплакал.

Он знал все, что за этим теперь следует. Теперь она станет нестерпимо ласковой и любвеобильной, какой она никогда не бывает, если не пьяная. Станет тискать его вялыми руками, мокро целовать и визгливо смеяться при этом неизвестно чему. А потом сразу, в один момент, уснет. Он ненавидел ее поцелуи.

Щелкнуло наконец. Вспыхнула под потолком лампочка, высветила серые стены, нищенски убогую обстановку, тряпье постелей, замытый пол, грязную посуду под раковиной на полу...

От нее, когда она склонилась над ним, прижалась, пахло точно так же, как от той банки, которую он разбил. И он ненавидел сейчас эту банку даже больше, чем ее мокрые поцелуи.

У нее были красивые густые волосы. Косынка сползла на спину, и волосы распушились, взлохматились, осыпали ему лицо, он задохнулся в них, закашлялся.

— А я-то, сволочь такая, опять вдрибан... — смеялась со всхлипами она. — Вот... аванец получила... шейсят два рубчица, — сообщила она, жулькая в руке горсть бумажек. Одна упала на пол, и она наклонилась, долго ловила ее. Выпрямилась, стала разглядывать бумажки, складывать одна к одной, бормоча при этом: — Какие это, черт, деньги... да это только глаза запорошить... ну чо с ними делать... два раза моргнуть — и деньги все...

Потом тяжело прошла к столу, опустилась на табурет. Долго качалась в молчании, нахохленно, опершись руками в края табурета, блуждала взглядом — по голым стенам, по печи с облупившимся боком, но ничего не видела.

Она была сейчас далеко — в своем пугающе-тайном, непредсказуемом, в недоступном ему мире.

Но вот что-то неуловимо переменялось в ней, в ее облике. Лицо разгладилось, помолодело. Проступил в нем какой-то дале-

кий неясный свет, легкое зарево, отблеск надежды. Оно стало совсем юным. Она тихим и чистым, чуть дрожащим голосом, какого он у нее никогда не слышал, вдруг запела протяжно:

Заиграла гармоза, а я думала гроза.
Без любви прожить можно, а я думала нельзя...

Смысла слов он не понимал, но лицо ее, но ее голос! Он уже готов был выскользнуть из своего тряпья, подбежать к ней, уткнуться в бок, ведь он так любил ее!

В эту минуту за темью окна прогромычал состав, мелко сотряс дом. Створки косякового шифоньера со скрипом отворились... Она очнулась, минута погасла. Глаза ее уставились в стол, только сейчас увидела на нем россыпь битого стекла.

В одном из осколочков блестели капли мутной жидкости. Она обмакнула палец, лизнула. После чего подняла и вперила взгляд в полку.

Расслабленные алкоголем мышцы ее лица напряглись, отразили мучительную работу ума. Наконец она произнесла хрипло, почти шепотом:

— Ты? разбил? банку?..

Он, все это время украдкой следивший за ней издали, в ответ тоненько и длинно, как волчонок, завыл.

Она с шаткой резвостью, которая неизвестно откуда взялась в ней, подбежала, нависла над ним, крикнула надрывно:

— Зачем ты туда лазил?.. Зачем, спрашиваю?! — и ударила его, но подавшееся покорно под рукой тощенькое тело только вызвало в ней новый приступ злости. Выкрикивая бессвязные слова, из которых «стервец», «гаденыш» и «ирод на мою голову» были самыми безобидными, она в каком-то иступлении схватила, сдернула его вместе с постельным тряпьем на пол.

Он уже не выл, всхлипывал и полз к ней, цеплялся за pinaвшие его ноги, чем еще больше распалял ее.

Но вот она устала, волоком — за ворот рубашки — проволокла его к двери, перекинула через порог в сенки. Большая

голова его при этом стукнулась о половицу, как костяной шар.

— Будешь знать наперед, тварь! — и захлопнулась. Силы ее враз покинули. Она прислонилась к косяку, вздохмаченная, потная, тяжело сквозь зубы дышала. Потом опустилась на пол.

Через минуту, сидя у порога, обмякло навалившись спиной на дверь, она спала.

Он, боясь громко плакать, а только поскуливая, нащупал так безжалостно хлопнувшую за ним дверь, поскребся, стал толкать изо всех сил — не поддавалась. Значит, она закрылась от него на засов, решил он.

В сенях было темно, страшно. Он торопливо выбрался во двор.

В сумеречном дворе тоже было все угрюмым, неузнаваемым. Под сполохами света проезжавших тяжелых машин черной решеткой скалился штaketник. В зарослях за домом угрожающе шуршало. Земля от вечерней росы была влажной. Сквозь протертые колготки стали зябнуть ступни. Продолжая тихо скулить, он побрел вдоль штaketника, пока не набрел на что-то темное, угловатое — собачья конура. Из дыры тянуло живым теплом, и он, дрожа от озноба, заполз в конуру.

Невидимый во тьме Пират шевельнулся на сухой истертой подстилке, лизнул его в лоб горячим языком. Он безбоязненно обхватал, общупал собачью морду, мягкие свисающие уши и лег, подкатился под лохматый, тепло и покойно дышащий бок...

Рано утром двор огласился хриплым со сна, встревоженным зовом.

Проревел по дороге самосвал, тяжелая росная пыль оседала за ним ливнем. С отекившим лицом, растрепанная, в брезентовой забрызганной известью грубой робе, она заметалась по двору.

Потом побежала в огород, скоро вернулась. Постояла растерянно, пооглядывалась в разные стороны — и двинулась к собачьей конуре. Присев на корточки и нервно отбрасывая падающие на глаза волосы, заглянула внутрь.

Пират неожиданно зарычал.

Она испуганно отпрянула, однако успела разглядеть его, свернувшегося калачиком, его щеку в засохших разводах вчерашних слез.

— Ах ты, подлюка, — сказала она псу, сразу успокоившись, — ну я сейчас... — и, бормоча на ходу угрозы, побежала в дом. Вышла вскоре с обломком лыжной палки в руке.

Пресунув железный наконечник в конуру, она принялась яростными тычками ширять пса под ребра. Пес жался к стене, рычал, огрызался, а потом, когда, должно быть, стало неважно, цапнул ее за палец. Она вскрикнула и выронила палку.

От поднятого шума он проснулся, выполз из конуры, жмурясь на свет.

Она трясла запястьем, плакала, ругалась сквозь слезы.

— Гляди, — кричала она, — чего эта зверюга сделал... до крови кусил. А если бешеный? Ой, лихо мне, сегодня же будку в прах разломаю...

И с причитаниями, мелкой, пошатывающейся трусцой заторопилась снова в дом.

Пес затих в глубине конуры, стал заливать разодранную железным наконечником губу.

Подняв выроненный ею обломок, он живо влез внутрь и неловко ткнул наконечником Пирата в бок.

— Ты зачем кусил, а? Зачем кусил?

Пес заперебирал лапами, теснясь своим большим костистым задом в дальний угол конуры.

— Тварь такая, — сказал он и ударил Пирата по голове.

Пес взвизгнул жалобно и заморгал, отводя взгляд (осознал, видать, старый, свою оплошку!). Тогда он снова ударил.

В этой собачьей покорности и беззащитности ощутил он внезапно некую неиспытываемую прежде для себя сладость. И захотелось еще!

В слезящихся глазах Пирата стояли недоумение и боль, в то время как он, распаляясь, ширял его под ребра железным наконечником, при этом торжествующе приговаривал: «Тварь... тварь... тварь...»

Заиграла гармоза, а я думала гроза.
Без любви прожить можно...

Уже всю громахали по улице мастодонты самосвалы, сизый дым, восходя, смешивался с трепещущим над ручьем бесплотным туманом. Со стороны больших домов заохала, гулко застреляла свай-баба: ох-ох! ох-ох! И тяжкий ритм ее ударов странно и загадочно совпадал с ритмом этой нехитрой песенки, звучавшей ниоткуда, — из воздуха, из дыма выхлопов, из собачьей боли, из стойкого безлюдья грохочущей улицы.

ДУХОВНЫЙ МОСТ

Любовь Никонова

* * *

Над темной пропастью огромной
он существует, мост духовный.
Ступи... Не бойся, что непрочен,
что он воздушен, этот мост,
что путь рискованный — бессрочен
и пролегает выше звезд...

Не верю обольщениям грубым,
что впереди ждет встреча с чудом.
Не верю в вымысел превратный,
что за хождение над тьмой
дар воздаянья благодатный
вдруг изольется предо мной.

Иной источник твой, отвага,
смысл упований чист и прост:
вполне достаточен для блага
сам этот путь, сам этот мост.

* * *

Денег нет у меня,
один крест на груди...

Старинный романс

Только крест на груди... Это мало,—
меркантильная служба сказала.—
Крест без денег не в моде сейчас.
Слышишь трубы судьбы огневые?
Это деньги звенят мировые
и толпятся народы у касс...

Я согласна. Я слышу. Я знаю.
Ослабевший костер заливаю
неживою водой из реки...

Ум завяз в философских вопросах.
Я бреду, опираясь на посох,
и в лохмотьях бренчат медяки.

Вдруг — торговец. Вещает, спасая:
«Околеешь ведь, баба босая!
Холод-голод нутро твоё съест.
Видно, с миром ты в сильном разладе.
Так и быть уж, экзотики ради
я куплю твой бессмысленный крест».

Что в ответ? Не продам? Это ясно.
Не торгуйся, торговец, напрасно
и дорогой своею иди.
Объяснить мою волю несложно:
отделить этот крест невозможно —
врос он в грудь, растворился в груди.

А откуда — из тела наружу —
он пророс уже в самую душу!
И попробуй его оторви!
Не прожить на земле этой смутной
без богатств нищеты абсолютной,
без сокровищ Христовой любви.

* * *

Я считала, что больше не будет
никаких удивительных встреч
и спокойное сердце забудет,
как звучит сокровенная речь.

Вдруг — бубенчик. Бубенчик? Откуда?
Чей я слышу сквозь небо полет?
Голос, равный предвестию чуда,
о мирах неразлучных поет.

Вьюжный вечер глубок и прекрасен.
Кислородом насыщена кровь.
Но еще неразгадан, неясен
лик, внушающий сверху любовь.

Расшифруй вековые признания,
раскодируй наш путь впереди,
ангел, там, в облаках мироздания,
приложивший ладони к груди...

Отчего этот зёмный бубенчик
популярен у вас в небесах?
И зачем вам земной человек
с безответным вопросом в глазах?

Это сердце послушнее воска,
если волю духовную зрит,
и любовью зажечь его просто —
но не жалко ли: быстро сгорит...

* * *

Природа времени нам лишнего не даст.
Об этом рассказал Экклезиаст.
Над нами и под нами — всюду бездны.
Об этом рассказала Книга Ездры.

Но вот веков на двадцать отойдя
от тех времен, играет вслух дитя
на пустыре, что весь зарос травой
и обратился тайной мировойю.

И время там какое-то свое.
И дрожь пронзает чашу травяную.
И бездна, маскируясь под былье,
подходит к жизни ближе, чем вплотную.

Но светлое беспечное дитя,
всего на шаг от бездны отойдя,
впивает ветер жизни вдох за вдохом
и тешится игрой с чертополохом...

Николай Колмогоров

* * *

Храм не храм, а как будто бы облако
и луга, и щетина лесов,
и следы позабытого волока
к горизонту, в страну праотцов —
вот такую, широкой и древнюю,
Русь, еще открываешься ты!
И люблю над твоими деревьями
звездный ворох ночной немоты.
Знать не знать бы, что где-то за далями
потрясен человеческий дух
и согнуло земными печальями
столько вдов и калек и старух!
Но в пространстве, где плавают спутники,
и на тверди болящей, земной
узел жизни, завязанный судьбами,
напитался единой виной.
Потому над равниною мгlistою
нет мне радости и полноты,
что слезою своей материнскою,
Русь, еще омываешься ты.

* * *

По долинам, лугам половодье идет,
подпирает черту окоема.
Чья-то смытая изгородь сироплывет,
мелкий мусор лесной
и солома.
С еще вязких полей
долетает в лицо
чернозема томительный запах.
И спешат старики на тепло, на крыльцо
в телогрейках своих,
будто в латах.
В каждой луже вокруг опрокинулся вид
синевы, что землей не вместила.
Одурев от весны,
мокрогубо мычит,
месит грязь возле фермы скотина.
И такая во всем разлита благодать,
и так вербы светло распушились,
что мерещится мне:
вот и люди, опять
подобрев, обнялись, помирились!..

* * *

Древний город, забытая быль,
все твои переулки и храмы
замела, пересыпала пыль,
обметали густые бурьяны.
Здесь венчался наследник царя,
здесь татары огнем проходили,
здесь морозной порой декабря
партизан безымянных казнили.
И как будто бы даже видны
у обрыва, где пусто и глухо,
тени виселиц прошлой войны
над рогожею русского луга.
Широко. Далеко. Высоко.
И сады одеваются цветом.
Но бывшее понять нелегко
по его настоящим приметам.
Сердцевина России. Песок.
Голубые последние ставни.
Не понять: кто ваял, кто берег,
кто взрывал
эти старые камни!..

* * *

От странной мысли вздрогну иногда:
на эту землю, где мороз и вьюга,
мы сметены с небесного листа,
чтоб мучиться
и не жалеть друг друга!

Но точно так же сердце говорит:
на эту землю, где мороз и вьюга,
где столько зла, где позабыли стыд,
мы посланы,
чтоб полюбить друг друга!..

ЛИЦО

Как утренний луч просияло,
как тихая тайна, пропало
за пестрою рябью других,
за рокотом листьев тугих.
Помедли! Но говор прохожих
обдал океаном похожих —
все канули в память! Но
запомнилось это. Одно:
как утренний луч просияло,
до самого сердца достало,
мгновением счастья вошло,
всю смертную желчь пережгло!..

...И — жизни частицею стало,
значение света внесло.

ИРИНАРХ

РАССКАЗ

Монастырский кузнец Епифан отшвырнул ногой пятнистую кошку.

— Брысь, шалава!

Животное, мяукнув, метнулось под лавку, откуда следило за происходящим в келье настороженными глазками. Епифан поставил у ног плетеную корзину, она глухо ударилась о земляной влажный пол. Перед кузнецом сидел на грубом стуле инок Иринарх, тридцатилетний, задумчивый, с туманным взглядом. Губы у него все время сохли, он облизывал их розовым языком.

— Крепить, что ли? — хмуро спросил Епифан, стараясь меньше дышать, так как воздух в келье был слишком затхлый.

Иринарх судорожно глотнул, еще раз облизнул бледные губы и кивнул. Он за все это время не издал ни звука, только изредка дрожь пробегала по его плечам и отзывалась легкими сотрясениями в пальцах.

В корзине оказался тяжелый, кованный из черного железа пудовый пояс, молот, длинные кривые гвозди и заклепки. Епифан обернул железо вокруг Иринарховых бедер и стал крепить его к стулу. Звяканье молота пугало кошку. Епифан кряхтел и бил осторожно, чтобы не попасть по живому мясу. Стул примыкал к стене, обшитый лыком, чтобы инок, откинувшись, мог спать. Рядом, перед низеньким оконцем, куда могла пролезть разве что человечья голова, была укреплена доска, на ней лежали священные книги, крест Спасителя и образ Приснодевы Матери. Больше, кроме лавки, под которой пряталась кошка, в келье ничего не бы-

ло. Ни летом, ни зимой она не отапливалась. К декабрю слюдяное оконце все заносилось снегами. В этом мраке должен был жить теперь Иринарх, прикованный к своему сиденью, одетый во власяницу. Еще, по обету, наложили на него оковы на руки и лодыжки.

Игуменом Старотроицкого монастыря был тогда отец Феодосий. Он пытался отговорить молодого инок от тяжелого обета.

— Молясь, уже избываешь скверну, — сказал игумен. — Пошто еще хочешь лишить себя божьего света? К чему оковы на всех членах и этот железный пояс?

— Пусть, — ответил Иринарх. — Буйства во мне много. Не удержат меня обычные молитвы и запреты. Пусть железо меня переможет. Буду кричать, выть — не слушайте, пока именем Христа тихо не вымолвлю слово.

Феодосий перекрестил инок и отпустил его, кликнув кузнеца. Теперь Епифан, закончив работу, усмехнулся, кинул молот в корзину и сказал узнику:

— Помогай тебе бог. Авось высидишь какое благолешие.

Иринарх услышал насмешку, но смолчал, тряхнул только локтями. Железные кольца на руках отозвались твердым стуком.

Боярский род Иринарха значился в последней разрядной книге. Семеро братьев его служили в разных Приказах. У всех уже были свои дома. Старший, Василий, находился при Посольской Палате, ездил в Австрию и Немецчину. Другие братья также были заняты важными делами, но-

сили кафтаны с золотом, шапки с самоцветами, сабельки с жемчугами.

Младший, Иринарх, звался тогда в миру Алексашкой Юровским. Был тих и серьезен, хотя силой и его матушка не обидела, — волчи капканы с легкостью разжимал и в седло птицей взлетывал.

Иван Грозный разорил, обескровил древние боярские гнезда. В силу входили новые люди. Манили их золото, власть, роскошь, пьянила гульба. И без того на Руси редкий год удавался тихим, а теперь всюду началось великое брожение. Разгорался огонь взаимного истребления. Видел Алексей, как исподволь копили силы и надвигались друг на друга Шуйские и Годуновы. Братья Юровские приняли сторону молодого, смелого, хитрого и клыкастого, как волк, Бориса, знавшего во Дворце все ходы и выходы.

Часто шептались на пирах и пирушках. Что-то затевалось в Москве, вылось ползучими ветвями вокруг Федорова трона. Самого царя, пересмеиваясь, даже в торговых рядах обзывали «дурачком».

И вправду, царь Федор был слишком набожен. Глаза его любили блеск золотых крестов, венчающих прозди церковных куполов. До страсти любил царь Федор пение псалмов и колокольные перезвоны. Иногда, в возбуждении, сам лез по крутым лестницам наверх и бил в колокола славу Спасителю. Борис, глядя на скачки царя с веревками в руках, кривил губы: в тех ли руках бразды правления? И зря ли господь в благости своей?..

Минул год. Иринарх терпеливо сносил тяготы затворничества. Однажды попросил старца Кирилла, убравшего в его келье, передать игумену, что он зовет его видеть. Феодосий, улучив время, пришел.

— Звал меня?

— Звал, — ответил Иринарх. — С жалобой я к тебе.

Игумен приготовился уже разрешить узнику снять с себя бремя обета, но Иринарх опередил его:

— Малой тяжестью давят на меня эти

оковы. Смущается и бродит мой дух. Хочу еще тяжести.

— Если это угодно Господу нашему, то он, верно, сказал тебе, какая тяжесть тебя облегчит?

— Да, — признался Иринарх. — Это должны быть медные кресты на груди.

— Слава Иисусу. Было б на смех Сатанайлу, если б в нашей обители не нашлось медных крестов. Я пришлю тебе.

Скоро в келью принесли короб с крестами и стали навешивать их по одному на грудь Иринарху. Он равнодушно смотрел на старцев, продававших льняную петлю за петлей ему через голову. Кирилл дважды сбегал в монастырскую кладовую, собрал все запасы медных крестов и насчиталось при этом всего девяносто девять. Иринарх требовал еще. Кирилл отказал ему.

— Куды тебе столько? — сердито спросил он прикованного подвижника.

— Не твое дело, старик, — грубо отозвался Иринарх. — Делай то, что тебе приказано.

Кирилл отправился к Феодосию, и тому снова пришлось спуститься в темную келью. После кратких переговоров Феодосий был вынужден послать Кирилла по кельям и, если у кого из монахов есть ненужные медные кресты, взять и передать их Иринарху. Пять коробов сносил Кирилл в келью. Иринарх продолжал шептать: «Еще», — все ему не доставало до какого-то предопределенного числа.

Когда же на шею лег сто сорок второй крест, он попробовал пошевелить плечами и не смог. Тогда он сказал:

— Достаточно... Моя мера исполнена.

Удивленные, разошлись монахи по своим жилищам.

Отныне все силы Иринарха уходили не на душевную смуту, а на преодоление этой физической тяжести. Обессилив, иннок откидывался спиной на стену, отдыхал, потом снова принимался прямо и высоко держать голову перед невидимым небом.

Время для Иринарха приобрело разные цвета, привкусы, глубину, как вода в ре-

ке. Он, если хотел, делал так, что день от восходов до заката оканчивался словно краткое дыхание или же медленно плыл Старо-Троицкой пустыней.

Не забывал его игумен Феодосий. Он приносил с собой короткие новости. Например, сообщал, что царица Ирина опять забеременела, но родила мертвую девочку.

— Не иначе, как семя гнилое у Федора Иоановича. Нету на Руси наследника...

— Что Годунов?

— Закусил удила, а куда вынесет его дорога, не знает...

— Борис хитер...

— Это так, это так, — отвечал игумен. — Да не грех. Плохо на Руси простому да простоватому.

Игумен так же, как Иринарх, жалел царя Федора, понимая, что не по нему шапка Мономаха.

— А ведь не нам то решать.

— Заходи еще, отец игумен.

— Зайду. Завтра хлеб привезут, посчитаю зерно и приду.

Особую радость доставляли Иринарху птицы. По просьбе отшельника Кирилл рассыпал остатки недоеденного хлеба перед его оконцем, и теперь пернатые часто прилетали сюда кормиться. Часто бывал синичий выводок. Зимой, пока не замело сугробами, под окном поскакивали снегири. Их вид вызывал у Иринарха блаженные слезы. Долго висли они на ресницах, усах и бороде.

В первые годы узник мерз от холода, бывало, даже простужался, болел, задыхался от кашля. Но не жаловался и ничего для себя не просил. Сердобольный Кирилл в холодное время побольше накидывал в келью соломы. А то приходила та самая Шалава, которая встретила его здесь, она привыкла к отшельнику, ложилась к нему под ноги и грела босые ступни.

Потом незаметно Иринарх перестал мерзнуть. Так же он почти не замечал летней духоты, лишь иногда ему досаждал мелкий гнус и мухи. Однако не бо-

лю, которую причиняли укусами, а тем, что лезли в глаза и в уши. У глаз он давил их набрякшими веками.

На двенадцатый год загудели внеурочные колокола. Вечером, перед службой, Феодосий зашел к Иринарху.

— Борис Дмитрия зарезал. Угличский народ восстал.

Иринарх ужаснулся и наказал себя на всю неделю бессонницей.

Спустя малое время по всем монастырям проехали государевы гонцы, сообщившие подробности смерти царевича Дмитрия и непричастность к сему Годунова.

— В смерти царевича виновата его болезнь.

Дело было неясное. Царевича действительно колотила падучая, он катался во время приступа по земле и совал в рот что ни попадя. Мамка царевича держала его руками, чтобы не допустить увечья, так он ей все руки обвел и сыну ее большой палец откусил напрочь. В тот роковой день, однако, царевич оказался на дворе один и, как в голос объяснили свидетели, вместо мягких мамкиных рук сунул в рот свой острый кинжальчик. Было нужно это Годунову или нет? Юный Дмитрий стоял на пути Бориса к трону, и Борис же отвечал за здоровье царевича. Все слуги у царевича были Борисовы. И они же были свидетелями.

— Ирод! — завопили бояре Нагие, поднимая Углич на бунт. Но эта отчаянная выходка завершилась кровавой расправой с Нагими. Годунов стоял твердо.

Игумен сообщил подробности Иринарху и замолчал. В сумраке они почувствовали друг в друге странную смесь чувств — жалость к рано умершему царевичу и облегчение от того, что так, по крайней мере, не будет еще одного слабоумного государя на русской земле. Этих слов они, впрочем, не высказали, так как слово от мысли до языка проходит большую дорогу и превращается то в мудрость, а то и в кощунство.

В один из осенних дней ноября, когда шли затяжные дожди, не выдержала, об-

рушилась келейка. Сгнила поперечная балка. Переломившись посреди кельи, она чуть не придавила подвижника. В образовавшийся разлом потекла холодная вода. Вначале Иринарх решил потерпеть, пока Кирилл или Феодосий сами не заметят беды. Но, укрывшись от непогоды в кельях, монахи не высовывали носа на улицу. А вода все бежала за шиворот, и мокрая земляная стена подозрительно выпнулась, грозя обвалиться и погрести под собой узника.

Тогда Иринарх стал кричать своим слабым голосом. Кричал долго, пока один из бельцов, живших за стенами монастыря, не понес монахам баклажку с вином. Он услышал жалобный голос, а увидев, какая приключилась беда, поспешил к Феодосию.

На выручку подоспела братия. Мокрого подвижника подняли вместе со стулом и вынесли на двор. Он с тоской и радостью озирался, видя блеклую осеннюю землю, тучи, строения, лес вдалеке.

Феодосий был поражен старческим видом Иринарха, тому, как он преобразился за истекшие пятнадцать лет. Грязный, волосатый, изможденный, изрытый морщинами, с гнойными ранами под ржавыми оковами. Позеленевшие медные кресты, завершая картину медленного наступления времени на этот человеческий образ, слиплись, фигура Спасителя на них исчезла под налетом окиси.

— Куда тебя определить, брат? — спросил с жалостью Феодосий. — Может быть, окончилась пора твоего терпенья?

Иринарх был непреклонен.

— Нет, тоска еще в сердце моем. Дай-те мне какую-нибудь захудалую келейку, я там буду жить.

— Хорошо, — согласился игумен. — Скончался инок Акинфий, завтра снесем на кладбище. Если хочешь, ступай в его келью.

— Я согласен, — сказал Иринарх, и его отнесли в келью к мертвому Акинфию. Монах лежал со свечой в руках на лавке,

перед ним сидел Кирилл и читал за упокой его души.

— Иди, брат, — обратился к нему Иринарх, — я ему почитаю.

Ничтожный огонек свечи согрел Иринарха, он гнусавил молитву, забыв о том, что пережитой неприятности.

Иринарх видел перед собой всегда добродушное лицо игумена Феодосия, его согбенную фигуру, как будто придавленную заботами о праведной жизни монастыря. В голосе, осипшем от молитв и распоряжений, слышалось ему человеческое участие. Заглянул бы он в душу игумена! Там далеко не было того мира и покоя, тех безмятежности мыслей и человечности, какие приписывал ему Иринарх.

Еще при жизни Ивана Грозного Годунов прислал в монастырь дьяка Фролова с тайным поручением. После этого бывший управитель монастыря отец Апраксий заболел и умер, а его место получил Феодосий. Все главные монастырские должности были заняты людьми, назначенными Фроловым, то есть теми, на кого мог положиться сам Годунов. Вслед за этим Борис прислал Феодосию деньги на пополнение хозяйства. При том Фролов, усмехнувшись, сказал, что деньги не считанные. А коли бы и были записаны в книги, то святая церковь сама знает, сколько нужно на дробление камня, а сколько на причастие. Феодосий понял, что может взять из этой суммы, сколько ему надобно. И взял, нимало не усомнившись, что еще придется отработать эту заранее данную плату.

Время пришло скоро. В монастырь стали прибывать «грешные» людишки. От них требовалось строгое покаяние, иных сажали на цепь, иные тотчас заболели странными болезнями, как Апраксий, и умирали. Не переменявшись в лице, встретил игумен князя Туренина, который привез в его обитель под сильной охраной самого регента Ивана Петровича Шуйского. А через две недели регент уже в холодной келье с руками на груди, в смиренной иноческой одежде. За окнами тер-

ся о кровлю слякотный ноябрьский дождь, а в душе регента цвело вечное блаженство. По собственной неосторожности Иван Петрович задохнулся от печного дыма.

Феодосий понял, что в Москве началось время важных перемен и знамя Шуйских клонится к ногам Бориса.

Так оно и случилось. Вслед за Иваном Петровичем опале подверглись Андрей и Василий Шуйские. Рука Годунова настигла Федора Шереметьева, Ивана Колычева.

Никто не знает, какие замыслы зреют в черной голове Годунова. Ни в чем нельзя быть уверенным. Бояре Юровские, братья Иринарха, быстро пошли в гору, а потом вдруг с ними случилась беда: семеро были разосланы по разным монастырям и сгинули в русской глухомани. О судьбе их Феодосий догадывался. Дипломатические ходы Бориса были ему известны, а то, чего он не знал, додумывал сам, взвешивая не слова, а только события. Расстояние от монастыря до Москвы лишь облегчало ему задачу, поскольку не было того неистовства противоречивых слухов. Знал Феодосий о том, как порвал Годунов заветание Ивана Грозного, как при живом Федоре сватал его жену к австрийскому принцу, как дурачил греческих патриархов. Знал и то, что положение Бориса все-таки шатко, и знал причину этого: у Годунова иссякли деньги. Шуйские боролись за власть рука об руку с другими боярами, их сплавивали единые интересы, и там, где им было достаточно слова, Борису приходилось кидать золото или должности.

Между тем, хозяйство от Ивана досталось некрепкое, казна пустая. С запада выколачивали последние доходы поляки и шведы, с востока — татарские орды. А царь Федор наигрывал на колоколах любимые перезвоны.

Иринарх сидел теперь в келье старца Акифия. Дни шли за днями, а мысли его не просветлялись. Бывало, брало Иринарха неистовство, он сотрясал висевшее на нем железо, шевелил чешуей медных кре-

стов, был по-звериному, и волосы его становились дыбом от мучительного внутреннего раздора. «Куда я должен идти, Господи, — вопрошал он висевшую перед ним тьму. — С братьями пойдешь, с Годуновым — там все кровь! С Шуйскими — кровь! Бельские, Мстиславские — кровь!! Романовы — кровь! Не потому ли вишня цветет прекрасным цветом, что взлелеяна на крови? Русь ты пресветлая! Потому ли такова, что слезами омыта, очищена?..»

На вой Иринарха прибегали старцы, чаще всего Кирилл, которого время не брало, разве что он как бы поиссох, но с тем же выражением радости на лице.

— Ай, плохо тебе брат? — сочувствовал Кирилл.

— Плохо, плохо! — отвечал Иринарх. — Ступай! Или нет, пришли мне отца игумена...

Приходил Феодосий и всегда знал, чем отвлечь мысли узника, но отвлекая, он не мог разрешить их, и даже не пытался. Ибо сам, вглядываясь в ночную темень, не раз задавал себе вопрос: какое новое семя упало там, в далекие земли? Какие плоды даст в положенный срок? Должно ли человеку вмешиваться в течение рек, или русло их проложено наилучшим образом, а тот, кто меняет их направление, меняет и само человеческое установление? Правы ли братья Юровские, сгинувшие за чужую доблесть, или прав Иринарх, не обагривший руки кровью, не запятнавший себя убийствами, страдающий и ждущий себе просветления в затхлой келье? Он — человек ли? Благо ли — жить на подаяние? Если нужен человеческий род, значит, нужно пахать землю, засеять ее зерном и, когда приходит время жатвы, срывать тяжелые колосья. Значит, нужно делить эту землю. А дележ — это распри, кровь, это мертвый Шуйский, это тысячи мертвецов из тех, кто слабее. Так ведь и татаровье прошло по Руси, потому что оказалось сильнее, а потом мы взяли верх, князь Дмитрий побил поганую орду. И это есть жатва. Должно так быть? Нет сего объяснения в Писании.

— Одно только есть самое чистое на свете,— говорил Феодосий Иринарху,— это материнское напутствие. Оно в глубине своей воистину бескорыстно. Опрочь того все оваяно тьмой и бесславием.

Иринарх не согласился.

— Самое святое, самое истинное еще должно быть. Что оно есть, я знаю, оно у меня в груди. И то хочу извлечь. С тем и жить.

Игумен знал, что это ложь.

Иринарх знал, что это правда.

Годунов устами пронеры-канцлера Щелканова убеждал австрийского посла: «Мы начали возделывать пашню! Мы вместе — страдники и сеятели! Ежели мы усердно будем возделывать землю, бог нам поможет, чтобы быстро взшло и произрастало то, что мы посеяли. А мы, работники, сообща пождем с божьей помощью плоды здесь, на земле, и там — в другой жизни».

И Годунов знал, что правда за его плечами.

На исходе пятнадцатой зимы в ворота монастыря постучался ездок в богатой енотовой шубе. Он не предъявил должного письма к игумену и потому простоял на морозе битый час, пока ленивый привратник сходил к Феодосию.

Игумен оглядел боярина из заледевшего окошка, смутная догадка мелькнула у него в мыслях. Но он не спешил открывать, чтобы успеть взвесить все последствия этого неожиданного визита.

Боярин, замерзнув на ветру, застучал в ворота саблей.

Феодосий тихо исчез, наказав монаху проводить гостя в игуменские покои. Он решил принять его в своей жарко натопленной комнате, авось боярин разомлеет и выкажет то, что хотел скрыть в душе.

Боярин легко двигался за монахом. Они поднялись по лестнице, миновали несколько коридоров, где дул сквозняк и несло холодом. Изредка толстые свечи горели на стенах. Перед глазами мелькали тем-

ные дубовые двери, оснащенные щеколдами. У одной двери привратник остановился и постучал кулаком. Изнутри послышался недовольный голос:

— Кто там?

— К тебе гость, батюшка.

— Пусть войдет.

Монах толкнул дверь, открывая путь боярину, а сам исчез той же дорогой, возвращаясь на свое место у ворот.

— Прости меня грешного,— сказал боярин, кланяясь игумену.— С маленькой просьбишкой и ненадолго. Тут же должен воротиться к службе.

Отец Феодосий не приближался к боярину, чтобы, если возникнет такая нужда, холодно отказать, хотя он почти наверняка знал, о чем его будут просить.

— Все мы грешные, все спасаем здесь свою душу. Молимся неустанно... Не только за себя. И за чужие грехи тоже. И за тебя, боярин, помолимся. Имя свое назови.

— Боярин Юровский, батюшка.

— Что за дело привело боярина в дальнюю обитель?

Лицо Юровского дрогнуло, на левой стороне его заметны были свежие красные шрамы. «Добрые отметки,— подумал игумен,— и счастливо отделался. Скользни чуть ниже сабелька, по яремной жиле, уже не стоял бы ты предо мной». Вслух произнес:

— Брата хочешь повидать?

— Да,— обрадовался боярин, что так просто все объяснилось.

— Не знаю, захочет ли он тебя видеть.

— Как так? — удивился гость.— Как не захочет?

— Строгий обет дал... Никуда не выходит из своей кельи и света дневного не видит. Пятнадцать лет постится и молится, оковы на себя наложил тяжкие. Святое сердце у брата Иринарха.

— Иринарха?

— Это имя дано ему в иночестве.

— А как не захочет,— боярин шагнул к игумену, сунул руку в карман, так что Феодосий вспорхнул бровями,— за кин-

жалом? — но из кармана появилось не граненое лезвие, а серебряная пряжка. В литых линиях виднелись черты какой-то птицы с раскинутыми крыльями, не коршун, однако, и не сокол, другая птица — тех бы игумен узнал.

Отливка была старая. В углублениях металл почернел, а выпуклые части ту-скло блестели сумеречным светом.

— Пусть возьмет Алешка на память.

— Что же, пойдем, провожу тебя... Да не удивляйся, воздух у него не чистый, с непривычки душу воротит.

Они пошли по протоптанным дорожкам в снегу. Солнце низко катилось над монастырскими стенами, но в облаках и тучах уже появилось белесое с желтизной, не близкое, но уже явное предвестие весны.

Со скрежетом отворились ворота и пропустили в обитель подводу. Мужик, сидевший чуть не на самих оглоблях, погонял мохнатую кобылу кнутом. Возок был доверху наполнен рыбой. Возле амбаров мужик натянул вожжи, спрыгнул, стал разминать ноги, ругаться и пощелкивать кнутом. На шум из амбара высу-нулась толстая заспанная рожа. Ухмыль-нулась, снова появилась.

— Прймай дары святого Егория! — ска-зал мужик.

— Дары-дары для грешной дыры! — го-готнула рожа и опять спряталась в ам-баре.

Келья Иринарха невысоко возвышалась над землей, выделяясь в снегу небольшим бугорком и тропинкой. Игумен еще раз пристально оглядел боярина и указал пальцем на дверь.

— А я пойду распоряжусь, — и он на-правился к возу с рыбой.

Боярин шагнул вниз.

Закрыв дверь, беспомощно завертел го-ловой. Сумрак ударил по глазам. В нос пихнуло отхожим местом и погребом, гнилым, тошнотворным запахом. Темный комок сидел в углу на стуле, от него ис-ходило зловоние. Шевельнулись цепи,

слабый голос булькнул, порвал пленку молчания.

— Кто здесь?

— Я, — нерешительно ответил боярин. — Брат твой, Василий. Ты, Алешка?..

— Здравствуй, брат Василий... Нету Алешки... Я Иринарх.

— Это для них, — сказал боярин. — Для меня Алешка. Я тебя на коня подсажи-вал... Аль не помнишь?..

— Не помню.

Растерявшись, Василий не знал, как продолжать разговор. Видно было, что слова даются ему трудно.

— А мать с отцом помнишь? Дом на Воздвиженке помнишь?

— Мой отец Иисус, его имя славлю.

— Не Иисус же тебя породил! — с ус-мешкой сказал Василий.

— Люди только тело дали, — отозвался Иринарх. — А дух мой Христом наполнен, и разум дан единосущной Троицей. Тело мое я заковал в железо, духом же зрю в темноте лица небесные, вечные... Слова нерушимые слышу... Было, смердела во мне кровь. Теперь я другой. Ты пришел ко мне коросты драть?

— Я пришел к Алешке Юровскому! Мы с тобой двое остались! Остальных погубил иуда Щелканов! Мало чужих сощелкал, — за своих принялся. Я чудом выскочил, по всему телу отметины кровавы ношу. К тебе шел, думал, осталось в душе челове-ческое... Мстить будем! За каждую голову вдесятеро возьмем! Вставай, Алешка! Пойдем за Вязьму, скоро наберешь силу! Я тебя выкормлю, травами выхою! Одно-му мне не выстоять, Алешка!

— Я Иринарх, — прозвучало в ответ.

— А это... тоже не помнишь?

Перед глазами Иринарха оказался про-долговатый предмет, напоминающий пти-цу. Воробей? Жаворонок? Шевельнулось в памяти смутное облако, но почуяв набе-гающую волну радости, Иринарх остановил ее, усилием воли рассеял облако, прошеп-тал слова ежедневной молитвы и сказал:

— Не помню.

— Так будь же проклят, святоша по-

ганый! — вскричал Василий и бросил пряжку от отцовской перевязи, на которой он носил свою славную саблю и с которой играли все его дети еще в пеленках, — с которой был связан образ отца, дома Юровских, смысл их жизни; Василий бросил пряжку под стул Иринарху, на кучу испражнений, едва прикрытых соломой.

— Будь благословен, — прошептал ему вслед Иринарх.

К тому времени игумен распорядился текущими делами и возвращался в келью Иринарха. Но войти не успел. Навстречу ему выскочил Василий с перекошенным лицом.

— Ну как брат Иринарх? — спросил игумен.

— Брат... — Василий протянул игумену тяжелый малиновый кошель с золотом. — Помяните всех невинно убиенных...

Кошель мелькнул бархатным пузом в руке игумена и соскользнул под полу.

— И тебя, боярин, помянем добрым словом. И твоя участь облегчится, бог даст.

— Нет уж. Моя участь не в божьих руках. Прощайте, отец игумен. Больше не увидимся.

— Прощай, боярин.

Василий Юровский зашагал к воротам, где его терпеливо дожидались сани и два стрельца верхами. Феодосий двинулся было в келью к Иринарху, но передумал и направился в свои покои. Кошель Василия Юровского бил его по ногам, но игумен не замечал тяжелого колыханья, он думал, кого послать к Борису с сообщением об этом неожиданном визите и своими догадками.

Еще пятнадцать лет просидел в оковах Иринарх. Под конец наложил на себя еще более тяжкий обет молчанья и теперь только слушал да кивал головой, да плакал от умиления.

На Соборе 1599 года был избран Борис Годунов на царство. Мелкие бояре кричали «Хотим Бориса!», а крупные помалкивали, переглядывались.

Годунов показал себя умным государевым мужем. Однако его мероприятия не укрепили хозяйство Руси, а напротив, расшатывали, потому что княжества были расколоты на два враждебных лагеря: на безродных и именитых. Дело, начатое Иваном Грозным, все глубже ввергало Русь в пучину смуты.

Боярские перепалы около трона отзывались страшными потрясениями всей русской земли.

Надорвавшись под тяжестью взваленной на плечи власти, Борис умер. Буйные Шуйские воспряли, со злорадством сволокли царевича Федора Годунова за бороду по кремлевским ступеням, обливая их кровью. Борис был похоронен в Архангельском соборе. Шуйские разорили могилу, тело бывшего правителя Руси кинули, как падаль, на заброшенном, заросшем бурьяном кладбище.

Один страшный голод сменялся другим. Люди грызли древесную кору, ели кошек и доходили в умопомешательстве от множества смертей до того, что вырезали куски мяса из человеческих трупов... В одной Москве свезли тогда на погост почти полтора ста тысяч мертвецов. Многие искали спасения на Дону, бежали туда по одиночке и целыми семьями.

В Польше объявился живой царевич Дмитрий, сзывал народ под свое знамя, двигался, пыля по дорогам, на Москву, неся с собой ту же смерть и расправу. Польские шляхтичи ни в грош не ставили душу русского крестьянина, жизнь целой семьи ценилась дешевле борзой собаки.

Феодосий каждый день служил молебны по невинно убиенным. Иринарх, слушая колокольные перегуды, мычал. Ему казалось, что с каждым ударом колокола в воздухе разливается яркое сияние и духи людские переговариваются между собой на многие версты, летая над прекрасной землей, — над цветущей и наконец просветленной Русью.

Публикация Е. В. Орловой.

Иван Полунин

* * *

Где пылали вчера снега,
Обнажился олений мох.
Устремилась к ручью кабарга,
Издавая протяжный вздох,

Облегченный,
Как тихий свет,
Что над нею скользит сейчас.
А зимою не скроешь след
От коварных звериных глаз.

Только бегством спаслась она
От недобрых внезапных встреч.
Хорошо, что пришла весна:
Будет проще себя сберечь!

Оживилась всю тайга,
Ведь она для зверей —
Ничья...
Чутко слушает кабарга
Серебристые звуки ручья.

Что таится неясное в них?
И, привычного страха полна,
Встрепенулась невольно и вмиг,
Как зарница,
Исчезла она.

Я подумал о царстве лесном,
Неустроенном,
Страшном для тех,
Кто не сделался хищником в нем
Средь коварства
И странных утех.

* * *

Скосить бы мне
Траву забвенья,
Чтоб снова радость обрести!
Но корни сорного растенья
Переплели мои пути.

А, значит, снова на покосе
Трава поднимется стеной.
Она, как ты,
В скупую осень
Не посчитается со мной.

Наперекор сибирской стуже,
В краю ветров и мерзлоты
Нахлынет волнами —
И тут же
Прикроет наглухо цветы.

Цветы любви!
Они пестрели
И вдруг зачахли в суховой.
Возможно, счастье просмотрели
С тобою в юности своей?

Как знать о нем?
Ведь мне под вечер
Траву забвенья
Не скосить...
Едва ли нам помогут встречи
Любовь былую воскресить.

Михаил Небогатов

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

Будущее светлое счастливое.
Лучшая земная благодать.
Это, как заря над спелой нивой,
До которой — вот, рукой подать.
Потерпите! Много будет светлого —
Обещала жизнь. И шли дела!
Только до обещанного этого
Мама, например, не дожидла.
Светлое, счастливое, бесценное...
Я-то думал — впереди оно.
Оказалось, вечно сокровенное —
В давнее, в далекое окно.
От окна того дорожка тянется
В летнем зное, в снежной тишине.
А кому по ней идти достанется,
Не могу я ведать. Лишь не мне.

НАСЧЕТ ПЕНСИЙ

— Внучек, ты умом, я знаю, зорок.
Пенсию повысят ветеранам?
У меня, к примеру, только сорок...
— Всем повысят поздно или рано.
— Хорошо б, конечно, чтоб не поздно,
Чтоб налюбоваться белым светом.
Хворости-то наступают грозно,
Как фашисты в сорок первом летом.
— Ничего, дедуля. Ты ведь дюжий.
С перестройкой толк у нас немалый...
— А скажи, милоч, не будет хуже?
— Хуже-то уж некуда, пожалуй.
— То-то! Сам в сомненье. И не ври вот,
Что, мол, близко счастье у народа,
Коли эти планы — на период
Ажно до двухтысячного года...

ПРИСНИЛОСЬ МНЕ...

Приснилось мне, что я — актер.
Играю жалкого плебея.
Внушает мне мой режиссер,
Что не хозяин сам себе я.
Как ни шагну, что ни скажу —
Ворчит, брюзжит: не так, не этак.
Когда ж ему я ужогу
В числе других марионеток?
Нет, зря я, зря согласие дал
Быть в этой роли, быть артистом.
Уж лучше б весь спектакль молчал,
Уж лучше был бы я статистом.

А так — придирки каждый миг:
— Опять вы глупость напоролы!
Я тоже крою напрямик:
— Как быть мне умным в глупой роли?
Да будь он гений, режиссер,
Невмоготу мне эти встряски.
Он тоже часто мелет вздор,
И он же делает подсказки!
Жить с кем угодно в унисон,
Но лишь не с ним. Я скоро взвою!
О страшный сон, о жуткий сон —
Играть, не быть самим собою!

Публикация М. И. Небогатовой.

Александр Казаркин

ИСПОВЕДЬ

РАССКАЗ

Скажу вот тебе — не поверишь: я с пятнадцати годов ружьем кормился. И сам жил куда с добром, и семью кормил, пятерых. Отец у нас с природы глухонемой был, мать — хвора, сестер три штуки, погодки. И так-то жили не ахти, а как загнали в колхоз — ну и запели матушку-репку. Ты не сиди, лей себе-то...

Я ведь еще помню, как единолично жили, не смотри, что нос красный. Который не пил да не лодырь, жил подходяще. Потеперешнему, может, кому не баско покажется, дак ты время-то не ровняй.

Помню, по Гуниной гриве трактора шли, самы-то первы. Три штуки шло, фарзоны, с той вон стороны шли, с западу. Да, батюшки-светы, чё тут началось! Кто плачет, кто крестится, старухи иконы в окна повывастили, которы и в подвал позалезли — конца свету ждут. Кержаки, вишь, куда деваться — сатана пришел.

А мы, ребятня, которы лубойчей, айда к имя, к тракторам-то, нам конец свету нипочем. Мужики тоже сошлись, вятски больше, с того конца, смотрят один из-за другого. Один вятский парень кругом обошел, а вода, видать, текла с радиатора, он и толк соседа в бок: «Гля-ко, лешой окайной, напрудил цельну лужу, не хуже быка. — Да, рылом ведь, передом-то пошто?» А? Вот какой народ был, а ты свое — хлеборобы... Ну, стоят это мужики, трактора тыркают, и вдруг расступились все, примолкли: чё, мол, тако? Сам Скуратов идет, немой. Подошел это отец, смотрит так сподлобья на колеса, потрогал шпоры-то эти, вперед зашел, да вдруг хватить за передню за ось. И поднял. Под-

нял, за передок поднял трактор! Ох, здоровый был, покойничек, дай бог ему память! Поднял и держит, смотрит, че он станет делать, трактор-то. А он себе тыр-тыр-тыр. Отпустил потом, плюнул пошто-то да и ушел. Было здоровье, неча скрывать, а я, вишь, какой окурочек остался. Ну, правда, мать-покойница маленька была, отцу, считай, по пояс. Сирота, вишь, осталась, как переехали оттуль, с Расеи, вот и вышла за него. А куда деваться, стал я вятский кержак. Я и в церкву ходил на Паску, и в моленный дом, а спроси, где я крещенный, — не знаю. Ей-богу, нет, так у матери и не спросил...

На Бажинской заимке у нас родня была — Понарины. Не сказать что богатеи, а подходяще жили, четверо коней только было да коров не меньше. Чем, вишь, форсил дядя Митрий, — рысак у него был и кошовка малинова. Ну, добрый был конь, сто сот стоил. Он на нем в Сорокино на ярманки ездил, не ближний свет, там тыщи народу съезжалось, на бегах спорили. Сотни, говорят, выспаривал, до тыщи и того больше. Потом и пьет-гуляет неделю-другу. Ему уж лет, наверно, за тридцать было, а не женатый. Мужики наши все хотели его подстеречь — по чужим по бабам шибко мастак был, а никого, вишь, не боялся. С каждой ярманки гармошку покупал, с удачи-то, потом дарил их. Напьется, идет нараспашку и на всюё-то деревню задуват песняка:

Эх, по деревне мы пройдем —
Рубахи долги пестрые,
Эх, берегите, бабы, девок —
У нас пики вострые.

Налей маленько, да не торопись, до вечера не скоро... Песельники они все были, Понарины, что ты! Да здоровуши все, драчуны, зубоскалы. Уж Понарины гуляют — чужой не заходи: напоят и излупят. Тогда, правда, меж своими больше и гуляли, родни по займам не одна бригада. Топоры, ножи бабы с утра попрячут, дак ведь колотушкой крыльцо расщепают. На других посмотрят — плюются: «Это не мужики, это горсть вони, — окна, рамы целы стоят. У нас уж утром сразу видать: гулянка была. Двери с косяками вынесли, старики нас водой разливали. Я как-то съездил туда, на займку, — крапиво и той не видать уже. Где ямы от домов, верба, черемшник вырос и кой-где черныбыльник. Сослали их всех тогда.

Вот чё к чему мужиков порешили, спроси — не знают. Каки у них батраки, одни в лесу жили, а теперь там бурьян да кустарник. Вызвали дядю Митрия в район первым — коня с кошовкой отобрали. Потом на ней милиция ездила. И сапоги хромовы с его сняли. Пришел в каких-то обмотках, а февраль был, еще не начинали раскулачку-то; уехал королем, вернулся бобылем. У нас изба почти с краю стояла, зашел он, выпить попросил сразу. Разулся, а у него — пятки-то стучат по полу, колотит его всего. Выпить хочет, а не может, потом совсем голову на стол уронил, а тверезой. Пошел домой, а его покачивает. Рядом сосед жил Сергуня Прошин, кум, а такой художон воночий, возьми да и крикни ему вдогонку: чё, мол, отходил, относил рубахи пёстрые? Все долго вспоминали, опосля уж узналось, что это он да Гошка Наживин написали: дескать, мол, Понарины батраков нанимают. А из-за баб, только из-за их и написали. Ну, правда, бог-то, говорят, видит, с войны обои не пришли. И где-то через день-другой подкараулили его, дядю Митю, мужики кольями измесили. И рукой, говорят, не махнул, и не крикнул. Потом быстро счах, до весны не дожил.

А было их четверо братьевьев, все старше его, и у всех пошто-то девки рожда-

лись. Да помногу, слышь, одна за другой, да сплошь корявы. Оспа прошла, видать. Замуж-то не берут, имя делать зимой неча, вот они ткнут да придут, придут да ткнут ночами. Наткали три воза холста — за то и раскулачили. А куда деваться, кого-то надо кулачить — разнарядка пришла. Коней, коров в колхоз увели, а холст в анбар заперли. Года через три хватились — хрен вам не холст, мыши весь изгрызли. Кого-то надо сажать, а кого? Колдовщика, Сергуню Прошина, он грамотей был. Вот он на допросе и сказал, что дал этот, сигнал-то, куда следовало, а теперь, мол, его за кулацких крыс судить? Они, может, их нарочно расплодили, крыс-то, как кулацкое орудие. У, хитрущий был бес, что ты! Сам потом попался — в анбаре пол сверлом продырявил и зерно продавал. А наши там, говорят, обжились, в Нарыме-то, опять бригадами да булгахтерами стали, таки ли еще колхозы поразвели. А куда деваться, раз все в кулаки приписаны? Девоч замуж выдавали за остяков, а потом и немцев туда прислали — живут куда с добром, кто уцелел. Ну, осподи благоволит... А ты это зря, не закусываешь-то.

Мы, считай, последними единоличниками оставались. Отец немой, ему чё ты докажешь? А потом как прижали самообложением — всё, деваться некуда. Отвели лошадь, записались, значит. Вступить вступили, а заработков-то нету, зима на носу, в кладовке пусто. Меня Ипат Ерохин надоумил, родня по матери, хороший мужик, царство ему небесно. Ты, говорит, Стёпша, сходи-ка в заготптишнину, там у них охотников-то не стало, а план имя нонче большой даден. Сходи, сходи, парень, небось, примут, пока года не вышли. Я и послушался, пошел. Пошел да и зажил — лучше не надо. У меня деньги, у меня галифе, у меня сапоги новехоньки, крупы выдали, пороху. Сват-то Ипат мне и берданку отдал. На неделю, на две в тайгу уйду — обратно мешок шкурок несущу. Мужики, парни в поле пластаются, в деревне ни гармошки, ни балалайки не слышать вечерами, а мне и нужды нет. Сам

себе вечером у костра песни затеваю. Зажил, в общем, понял сразу, что со всеми-то лучше не толкаться, а надо с краюшку. Вот жись-то она и пошла по правилу: пинжаков у меня уже два, сапоги со скрипом, а друзья так в холстине и на точок идут. Тут и девки сразу заглядывали, а то, бывало, придут — как не видят.

Теперь-то, еще бы, такой мешок шкурок, он, может, тыщу стоит, дак тогдашне теперешнему далёко не родня. Потом уж, после войны, как стал трактористом работать, я за лето на кротах да на хомьяках больше зарабатывал, чем на тракторе. А сравни-ка, сколь тракторист получал в энтэесе, сколь простой колхозник! Горно-стая возьми, много его счас? А я, помню, за зиму накопил шкурку сорок, не меньше. Да петли на лис, на зайцев ставил, козы эти с Алтая приходили, или, как их, косули — тут уж не спи, выходи пораньше. Птицу тоже бил, косача, бывало, — березник усыпят, врать не стану, любого старика спроси. Дичи было, ох было дичи — теперь самому не верится.

А куда все девалось? Счас вот уж толком не вижу, ходить далёко не уйдешь, а как попаду в лес, будто не уходил сроду. И вроде бы счас встану и пойду верет за пятьдесят в Чернь, в тайгу-то. И за шестьдесят и за семьдесят уходил, шалашей сперва наставил по тайге, потом избушку срубил кое-как. Ну, кобель мне добрый достался, век его не забыть.

Жить вроде бы долго, не смиришь, конца нету, как сосне расти. То ли я жил, то ли не я? Любил я лес, что ты! Мать покойница сильно боялась, из зари в зарю смотрела, не иду ли.

Медведя, врать не стану, побаивался. У кержаков, вишь, заведение было: медведя убил — поститься должен, молиться — я и не связывался. Да и выгоды особой не было стрелять его: зверька много. Теперь выйду зимой за деревню в поле — заячьих следов и тех нету. Может, я один не вижу, слепой стал? Нету, говорят, давно никого нету. Я бы уплатил теперь, чтоб перед смертью еще раз летягу посмотреть

или колонка, или выдру. Я же ее, выдру, рядом вон в Круглой согре ловил, а теперь спроси — кто ее видал? И жалко станет их, зверят-то, заплакал бы, да какие теперь слезы? Где вот оно, спроси — не знаю. Пропил, профуговал? Ых, по деревне мы пройдем... Ну, лей, давай, лей, не задарживай...

А кержачить из наших никто особо не кержачил, не до того стало. Моленный дом закрыли, под контору отвели сперва, а потом там сушилку сделали, после того уж и телятник был. И церкву на горе в клуб перекатали, опосля сгорела и она. Ну, посты, это конечно, сперва соблюдали. Старухи ходили на праздники которые в Бийск, а которые и в Томск, вон куда. Ну, тоже не кажен год.

Отец, тот совсем ничё не разбирал, два пальца на лоб да на плечо положит, а до пупа-то уж и не доносил. Немой он и есть немой. А губами, бывало, кого-то шевелит, когда перед тяблом стоит, перед киотом-то. Великой пост ему, поди, все тяжелее давался, здоровенный был, а постился, соблюдал как надо. В бане с ним никто не дюжил, один Тимофей Тюрин парился, да и тот со второго захода выскакивал. Попарится это отец, ноги в пи-мы, веник под мышку и айда на пролубь. Там девки ли с ведрами, бабы ли с бельем, его не интересуется, правда, веником-то прикрывал же. Идет себе, дымитесь, только зад посверкивает. Веник в пролубь макнет, разотрется им, крикнет, обратно пошел тем же побытом — зад сверкает, перед занавешенный. Ну уж тут в бане не оставайся, сожгет. Потом как заболел, после войны уж, кила как-то на горле получилась, зоб, говорили, — ходить уж не мог, а в баню все одно просился. И сразу все — баня не нужна стала, значит, отжил наш отец. Похоронили последним, однако, на старом кержацком кладбище. Не помню че-то, вроде больше никого там не закапывали. А теперь там, видал, что? Сделали автозаправку, вот ведь как. Сперва, вишь, вроде как ладно, кресты тут, трактора там, не трогали пока. А потом

как расстроились, эртээс этот стаё, давай, мол, снесите кладбище. Как да что, да куда, а они ведь больно-то не спрашивают — ограду порушили и пошли цистерны вкапывать. Попервости кресты никто и не тронул, а потом-то все одно их тракторами позамяли. Так и лежат теперь наши под соляркой да под мазутом. Скажи доброму человеку — не поверит.

Дома тоже возьми — ни одного старого дома, считай, уже не осталось. У кого лучше дома были, тех и кулачили, а хозяином кто стал? Тюха с Митюхой да Колупай с братом. Кто на дрова испилил, кто продал да пропил дом, а у кого и сгорел. Теперь таких не построишь — захочешь, да лесу уж такого нет.

Я же хорошо помню — все эти гривы: Долга грива, Вахрамеева, Журавлина грива — они же под сосняком стояли. Большие-то сосны уже редки были, одна от другой по полкилометра, не меньше, а подrost зато какой! А на полдень пойдемшь, перевалишь гриву — и вот тебе Чернь видна. Конца-краю не видать, так с горы на гору и катит. Помню, как первый раз с отцом туда ходили, совсем вроде рядышком. А теперь? Двое суток идти до тайги-то надо, да и то — кака там тайга, одно название осталось.

А хорошо с отцом в лес было ходить! Встанет супроть большой лесины и вот стоит, вот стоит. Ведь чё-то же думал человек? Понимал, значит, что сосна она сосна и есть, что ей тыщу лет стоять, а ты — раз и скovyрнулся — червяк червяком. Было вот оно или не было? Изю всей деревни два-три человека, поди, и помнят, что тут кладбище было. От чужих подальше хоронили, гроб чтоб без единого гвоздика. Избу строили — без гвоздя чтоб, без железины. Вот и возьми за две копейки, убежали от железа!

На Горяевке Иван Скопин жил, дак, говорят, советовал колхоз без гвоздей строить. Чтоб железа не было нигде в артели, а то проку не будет. Его и забрали — как за пропаганду. Это уж что было, то было: посуды железной в дому не держали. Друг

у меня был Игнаха Тюрин, у них железно ведро одно на все хозяйство. А мать у него записна была, из ее посуды никто уж не ел. Это которы постарше делали, вроде как готовились — у ней свой закуток, отдельно молилась, чужих в дом не пускала. А ведро-то одно, да и то худое, дырка паклей заткнута. Дак вот коня мы с Игнахой с того ведра поили, это ничё, можно, а сами — нет. Сами-то паклю выдержим, ведро на край колоды поставим и рот под струю подставляем. Боже упаси ртом задеть за ведро — тогда его надо выбрасывать, а где друго-то возьмешь?.. Смотри, смотри, мимо льешь, она ведь не два восемьдесят семь понче. Ну, осподи, бласлови нас, грешных...

Вот ведь знать не знал, что она за хреновина за така — водка. Выпить выпивали, конешно, и до войны, да разве так? По праздникам, да на хмелю брагу за полгода заварят, да готовятся с неделю. Пили крепко, неча скрывать, а постов-то, сколь их было? До войны, бывало, вятски парни соберутся на точке, чекушку водки купят на троих-четверых и вот уж пляшут с ее, вот пляшут с ее, вот пляшут — до самого утра. Потом неделю друг другу рассказывают, как кутили. А наши чтоб кто выпил середь недели — что ты, сохрани, боже, помилуй. Отцов боялись, отродясь поперек никто слова не говаривал.

Когда — уж не знаю, а был в нашей родне дядя Вахрамей. Вот грива-то по ему и названа — как он сам себя кончил. Женили его не на той, что ли, или еще там как — запил он пошто-то. А отец у них уставщик был, ему никак, вишь, нельзя это в семье терпеть, моленный-то дом ихний был. Он ему и отрезал: пошел с моих глаз долой. Баба пущай с нами живет, куда ей деваться, внуков без тебя вырастим. Завтра не уйдешь или приходить будешь — проклянй. Перед иконой стал сынтю каяться, а отец уж не верит. Потом назначил ему: сходи, мол, пешком в Томск, стань в нашей церкви на колени и покайся перед всеми, перед богом, дескать, поклонись, что больше в рот не возьмешь.

Тому куда деваться? — пошел. И поклялся, и жил, говорят, лет десять — лучше не надо, моленный дом перестроил. А как закончили — выпил рюмку. Уговорили мужики или как уж там — сорвался, в общем. И хуже того старого запис, остановиться не может, и страх взял, что в церкви-то покался. Купил, говорят, четверть водки, пошел зимой в лес, сел под сосну и замерз. А водку и не тронул, только что открыл бутылку-то. Кто его знает, сколь с тех пор годов прошло, а, вишь, помнят, лесу уж там нет никакого, а грива-то — куда она денется? Так и будет Вахрамеева, хотя вся уж распахана.

Нет, наши пить пили, а фамилию не пропивали. Вятски, те пуще зашибали. Вот сперва-то с имя никто и родниться не хотел. Тришка Бегунов все, бывало, меня подначивал: «Подьте вы, кержашье, к шёмеру, ни сясти, ни исти путем не можете, выпей, будь шеловетком». Что ты, где-то по-за гулянке выпить, без родни — это домой лучше не приходи!

А у меня коса до пояса,
Кудёрочки до глаз,
Сероглазый мой залёточка
В обидушку не даст.

Грех на мне был, теперь уж скрывать нече, большой, видать, грех. Иду раз с Черни домой и уже к деревне ближе девушку встренул незнакому. Да дикошара така: смотрю — прыг от меня прямо на куст да скорей креститься. Наши-то деревенски уж редко крестились. У матери спрашиваю, не знашь, мол, кто, откудава — нет, не слыхала. Опосля с Ипатом разговорились, он и сказал: это с Суенги Вагайцевы, чалдоны настоящи. Ну, который давнишний сибиряк, тех чалдонами звали, а который с Расеи недавно, те вятски считались. В запрошлу весну, на Еремея-запрягальника, говорит, снялись они, ушли от колхоза. Это то ли на перво, то ли на четырнадцатого мая, в общем — как пахать выезжать, ушли. Мол, от антихристов подальше, там в скиту жить станем, как раньше жили. А для прилику слух

пустили, мол, в Ёлань переедем. Тогда еще не строго было, это потом ты хрен с колхоза в колхоз переедешь, а сперва-то разрешали. Девку эту Фелисата звать, так монашкой, мол, и сидит.

Хожу по тайге, а самому так интересно стало. Думаю, все одно найду я вас, охотник я или нет? И нашел избушку, по дыму утром нашел. Сколь раз на сосну залезал, пока не дотумкал при восходе солнца на самой макушке гривы посередь тайги посмотреть. Ну и айда туда, скрадок поставил, следить стал. Живут. Пчел развели, огородишко раскопали, избенку дранкой покрыли, рядом землянка, у ручья. А зиму-то, думаю, зиму-то ведь с ума же сойти можно без народу-то!

А потом все же устерег ее одну в малиннике. Уж детна утка на крыле была, чирков бил, там небольшое озерко, вода черна-черна. Испугалась сперва-то, присела и молитву давай читать. Ну, я похорошему стал, давно, мол, знаю про вас, никому не сказывал — вроде успокоилась. Ну, и слово за слово, давай рассказывать, как живут. Мать у их заболела, она и бега да к одной старухе, просила какой-то травы, что ли. Хотели сперва-то уйти аж в эту, как ее, в Бахтарму, да побоялись. Там, дескать, Белогорье, до колхозов не дойдет, нечистой силе там нет ходу. Дьявол в железе, мол, он водит, больше некому, всё к концу света. Отец уж колоду вытесал, ждут светопреставленья. Двенадцать громов прогремят, двенадцать дождей горячих прольют, град пойдет каменный, и польются реки огненны, и тут закричит Михайла-архангел: «Вставайте, все живы или мертвы!». А я поддакиваю, думаю, ты от меня теперь не уйдешь, летяга большеглаза. Дале-боле, опосля и до греха дошло. Она, правда, постарше меня была года на четыре, а дело-то уж перед самой войной, вот и прикинь, сколь ей тогда было. Ее ровня давно уж детей понарожала — дак не сильно и тужила. Сама потом прибежала в малинник-то, а уходит — шепчет: ох, тятя узнает — захлестнет, живьем закопат.

И тут раз вызывают меня в контору: так, мол, и так, поедешь на тракториста учиться. Года твои вышли, давай, или бери вилы в руки, или езжай учишься, на тракторе все же человеком станешь. Куда деваться, не дали проститься сходить, поехал я. Думал, подвернется случай, выгадаю денька два, сбегая, а не вышло... Ну-ка, належь, да как следоват... Эх, чугушка старая-пре-старая, ходила по дворам, полюбила рукомоЙника, совсем пошла на хлам. Осподи, прости нас, грешных...

Ну вот, а тут и война. Война она и есть война, век бы ее не вспоминать. Пригнали нас на Волковский фронт, давай землянки на зиму рыть. А там уж человек приготовленный сидел, нас ждали. На второй день построили нас, его выводят. Топор в руках будто не дряжливал, городской парень, а на кухню послали, он палец себе и оттяпни. Кто вот его знает, нарочно или нет, городские, не наш брат. Яма вырыта, подвели его, стали приговор читать, а он вот так: и-и-и-и, как вроде икать, а не может. Ждем: автоматчики выйдут, а нет, сзади старшина наган наставил, стрелил. Он вбок согнулся, в яму-то не пал. И еще раз в голову, сбоку. Столкнули, зарыли, разойдись... Не дай господь лихому татарину. Снился он мне долго, пока уж бои подходящи не начались. Давай, давай, не топчись, ослободи мерку.

Стрельбы провели — я лучше всех стрелил. «Ты, Скуратов, в снайпера пойдешь». Батюшки-светы, думаю, это че же, я ка-кажен день в живых людей целить стану! Ведь там же в линзу-то эту, всюю личность видать, уса́тый ты или безусый. Нет, думаю, пока я человека не убил, и меня не тронет, мать за меня там молится. А сам убью — молитва уж не действительна. Первые дни сяду на позицию и смотрю по сторонам, сам себе хозяин, ну как на белку вышел. Масхалат на мне, пимы, полушубок, горюшка нету. «Ты, Скуратов, зарубки ставишь ли?» — Ставлю, мол, ставлю, как не ставить. «Смотри, норму vyplишишь — к награде приставим». Ну и

палю раз-другой за день для показу в небо.

Раз так-то стрельнул, меня и застучали, с той-то стороны. Вдруг топоров будто штук по сто по березнику тят-тят-тят. Это он по мне с крупного пулемету жакнул очередю. Да втору за ей. Ну, думаю, мать молит за меня, видать, лампадку не гасит. С парнем алтайским подружились, с Чесноковки, тоже снайпер. На моих глазах убило с пулемету, развалило ему грудь и живот... А мы уж всё друг другу порассказали, думали, после войны в гости будем ездить, на свадьбе друг у дружки гульнем. Я того пулеметчика уложил с одного выстрела. Потом второго на то же место прислали, я и его. И так озлился, человек шесть у того пулемету снял за два дня. Вот тогда поднесли мне спирт — не стал отказываться. Потом кажен день, считай, полагалось, мало-помалу стал втягиваться. А куда деваться, война. Это вон Семен Базыгин хорохорится: «Я сам фронтовик, а не пью, гордость знаю». Не пьет он — до поднесеньева дня, а как поднесут — на карачках домой уходит. Просидел, небось, всюю войну на складах, дак с чего ему пить-то?

А ранил меня такой же вот снайпер. Весной было дело, вода в окопах, долго в воде не усидишь. Солнце всходило, я выглянул, рукой от солнца застюсь, а он, немец-то, с сосны мне в лоб и уцелил. Прямо в лоб. А вишь, видно не смерть мне там была. Пули-то у их разрывны, она в руке у меня и разорвалась, аж глаза забрызгало. А не разрывна — она и голову скрозь прошла бы, что ты!

Подшел это я к сосне на Долгой гриве, Елань видать уже, а ноги не идут дальше. Ну, слабость, само собой, полгода в госпитале всёжки, сорок верст прошел, а тут как приросли ноги к земле. Лежу и плачу чуть не в голос. Нет, думаю, я ползком, а доползу.

Работать некому, одне девки на тракторах да я, полурукой. И завертелся я то с одной, то с другой. А куда деваться, имя тоже все сроки вышли. Нету мужиков,

шаром покати. С Ульянкой Безменовой шибче всех черт схлестнул. Раз, помню, дождина льет, гроза страшенна, а мы под трактором. Да посреди-то поля, молонья так и хлещет, у нас два трактора рядом — а ни бога, ни грома, никого не разбираю. Рытвин в поле мало ли, а у их то у одной, то у другой трактор заглохнет. Или кульстан этот возьми — тоже провокация одна. В посевну, в уборку домой почевать не пускают, а оне тут как тут, на нарах. Уж и отец мне стал грозить, маячит, женись, мол, пес ты такой, пока ноги не протянул. Женился, и правда, что ветром уже качало. Наливай, чё смотришь?.. Эх, у матани двери сняли, по реке отправили. Эх, из-под нас тулуп украли, нагишом оставили.

Потом девки рассказывают: слышать, дескать, Фёкла банна с сибулону вернулась, а ребенок-то у ней омер. Мне и не в ум, что за Фёкла, да не у нас, а в Суенге притом. Она, рассказывают, умом помешалась там, в сибулоне-то, ее эти урки, видать, сильничали, вот и ходит по дворам не в себе, ребенка все ищет. Да что, мол, за Фёкла, откуда така? Пришла, говорят, с тайги с брюхом, отец из дому выгнал, в бане и родила. Стала жить у родни в Суенге, ее в колхоз, конечно, записали. А тогда ведь не смотрели ни на что, триста выходов сделай или под суд. Ребенок — это одно, а она еще в большие праздники повадилась не выходить на работу: грех. Сперва-то, говорят, ее штрафанули, потом судили и дали два года. Пока сидела, ребенок-то и помер, мальчик был. Степаном назвала. Ноги потом она обморозила, заражение началось, говорят, помирала — в себя пришла.

Бывал в Суенге, видал могилу. По-хорошему сделано, крест большой восьми-конечный, а написано плохо, еле видно уже: Вахгайцева Фелисата Ивановна. Хотел я подправить, да думаю, кто увидит, скажут, чё он к чужой могиле лезет. А маленького креста рядом нету, не нашел... Лей, не трусись.

Счас меня самого зятевя из бани под

руки приводят, два-три раза поддам, и с копылёв долой. Под старость самоуком дошел, что иконы надо было в светлой избе копить, а не на подлавку выбрасывать. Полез как-то туда на чердак, их там штук десять скопилось — трону, а они осыплются. Крыша-то худа, отстает краска. Постоял, подумал — их ведь, небось, на себе несли в Сибирь-то. Таки тыщи верст тащили в сумках, первым делом церкви, моленны дома строили, и где вот оно?

И удумал я пойти к деду Игошину, Павлу Амосычу, поговорить охота стало. Зять со мной увязался Валентин, работающий парень, только, вишь, себя и то раз в год любит. Ну, приходим к деду, бутылку выставили, он не отказывается, самому уж лет девяносто пять, не меньше. Выпивати выпиват, а не закусыват, вот как ты ж. Чё тако, спрашивам, — а нельзя, говорит, пост начался. Дак зачем же тогда водку пьешь, — мы-то дивимся. «А пошто не пить, она же не мясна и не молосна, из хлеба или из картошки».

Тут Валентин не утерпел, встрепенул. «А ты, говорит, дедушка, маргарин в пост ешь или нет?» — «Знамо, нет, он же масляной, скоромной». — «Дак вот, говорит, согрешил ты, дед, теперь водку и маргарин из одной нефти делают. А нефть — это, дескать, земляно масло». Дак заболел дед-то, совсем после того плохой стал, думали, помрет. Нашелся человек, учитель, сходил к ему: неправда, мол, эта водка из осино-вых опилок, а тот спиртовой завод на нефти, он еще не пущен пока. Соврал учитель. И оздоровел старик, опять, смотрю, сено выехал копить.

Вот ведь чё значит, вспомнил тут и я, как в войну, бывало, на позицию сажусь, а сам потихоньку шепчу: «Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный...» После никогда не молился, нужды не было. А, видно, правду сказал Павел-то Амосыч: «Подожди, Степка, помирать придет пора, закрестись, да поздно будет, помрешь без покаянья». А Валентин, тот свое: «Отец рус Иван счас раз сто в году исповедатся. Раньше к попу шли, за гра-

ницами, дескать, особы есть лекаря для исповеди, а мы куда? Пошел к соседу, бутылку прихватил — исповедашься». На-лей-ка.

Сон вижу, сколько уж раз. Несут будто покойника наши мужики, елански, а я на ходке, как вроде бригадиром тракторной бригады работаю. Кого, спрашиваю, хороните? Как кого, не видишь? Степана Скуратова, вишь, черный, как головешка из печки. Да вы чё, бог с вами, я и есть Скуратов. А пошел ты, дескать, отсюда, пока тебя не тронули. А пошто помер-то, чё приключилось? А то, что от водки сгорел. Ну, едрит твои голенишши, а медали-то, говорю, пошто оставили? У него же медалей шесть штук. Каки тебе медали, говорят, пьяница он был, трепач, весь век ишшаульничал, рюмки высматривал, а ты — медали. Да я сбегая сейчас за меда-лями, оне в комоде, я што, не знаю? Да дети-то где, у его же пятеро девок, замуж-ни, внуки, родня же, поди, не знают. А детей он, говорят, по сенкам оставлял по чужим, в какой деревне бригада стояла, там и дети оставались, теперь не узнают его. Куда ни кинь, нечем мне крыть. Может, говорю, совсем не он, может, пута-ница получилась? А нам, отвечают, мать его не крестить, он не он, унесем да зароем, лишь бы подали на поминках. Нет, говорю, ребята, так тоже неправильно, за-

рыть зароем, а кто такой, знать не будем. Дайте в личность загляну, я тут всех знаю. Наклоняюсь будто, а он, гад такой, мне подмаргиват, мол, не выдавай. А потом сел в гробу-то и запел, паразит, пья-ный и пьяный, мою любиму: «Я матаню звал за баню». — И тут будто рукава за-сыкат и как заорет на всё улицу: «Это он, держи, бей вятских! Вяжи его, не дай оправдаться». Все на меня кидаются, ду-хота сделатся, и сразу проснусь. Вот чё к чему такой сон? Старуха говорит, у тебя грудна жаба, это она сосет, на сердце да-вит, больше нечему быть, дак не знаю... Эх ты, пупыристый, топыристый, ковырис-ты такой, ты за товарочкой ухлястывай, а только не за мной.

А этим што, имя все одно, Емельян ты или Северьян, унесут, зароят. На помин-ках напьются да ишо передерутся, как вон у Безменовых прошлогод было. Эх, смерть пришла — меня дома не нашла... Все, што ли, нету уже? А как так я не заметил? Сходи, сынок, сходи к Вале-про-давщице, она слова не скажет. Так, мол, и так, от свата Степана, только пятерку прикинь, она на дому держит. Ночь не усидеть?.. Унесли его или как? Без меда-лей так и унесли? Сукины дети, не взяли, давай вышьем, кума, тут, на том свете не дадут... а куда девашься, раз тако те-перь право...

Владимир Переводчиков

ДВЕРЬ ОТКРЫВАЕТСЯ В ОБЕ СТОРОНЫ

Записки экстрасенса

Все, что сказано здесь, неоспорно. Это рассуждение вслух, попытка задать вопрос и по-своему ответить на него. Пospорить и даже поссориться с собой. Понять свои ошибки и предостеречь от них других.

Мы переживаем новый всплеск большого интереса к неординарным явлениям. Сейчас много говорят, спорят, пишут о биополях, экстрасенсах, медитации, биоэнергетике, гипнозе, внушении, йоге, аутотренинге, а особенно рьяно о целительстве — народной медицине.

Знахарь — слово неблагозвучное. Куда приятнее звучит «экстрасенс», «корректор биополя», «травовед», «травознай», «целитель», «магнетизер», «месмерист», «гипнотизер». Русская пословица говорит: «Хоть горшком назови, только в печку не сажай». Но есть и другая: «Назвался груздем, так полезай в кузов». В ипостаси исследователя-ученого перед вами, уважаемый читатель, мне выступать совестно. А говорить от имени знахаря незазорно.

ОРАНЖЕВАЯ АУРА

Теплым вечером апреля 18-го 78 года с моим знакомым иллюзионистом мы приехали на Фурманский переулок, 2. Кое-как припарковав машину, пошли и увидели огромное скопление народа на площади близ двухэтажного особняка. Я вслух подумал: «Кого-то хоронят».

— Хоронят, — усмехнулся приятель. — Эта толпа собралась в лабораторию исследований биополей: сегодня приемный день.

— Тогда тут не до нас...

...Когда член-корреспондент академии наук СССР А. С. Спиркин опубликовал несколько статей в газетах и журналах о результатах, полученных в этой лаборатории, — на Фурманский хлынула толпа желающих и страждущих.

Одни жаждали исцеления, другие — проверить себя на звание экстрасенса.

Если бы случайно этот дом покати́лся кубарем — все остались бы на своих местах: так бетонно-прочно были притиснуты друг к другу. Толпа не безмолствовала, но и не дебоширила. Все были настроены на «авось». Некоторые канючили дежурного, стоящего, как дневальный, у тумбочки, пропустить их в любую из двенадцати секций лаборатории. А он через силу в сотый раз повторял: «Сегодня приема не будет». Мой приятель издали посылал дежурному какие-то знаки и о чем-то недоумевал. Я в который раз уговаривал его уехать. Наконец отчаявшись, он стал энергично работать локтями, прорываясь к дежурному: «Я звонил, мне сказали, что мы можем приехать». — «Так мы вас и ждем».

С изрядно намятыми боками мы вошли в комнату на втором этаже. По левую руку у стены протянулся во всю комнату похожий на ракету металлический цилиндр, возможно, лазерная установка. На противоположной стене от потолка до пола — кусок толя. В аудитории дух ожидания. Я понял, мой спутник с кем-то знаком.

— Хочу познакомить вас с профессиональным гипнотизером, — с ходу начал он, — попросим его что-нибудь нам продемонстрировать. Кроме гипноза он еще кое-чем обладает.

И тогда я понял, на какую удочку меня изловили. Скажи он, зачем меня туда тянет, — я бы ни за какие коврижки не согласился.

...Однажды у его жены разболелась голова. Видя ее мучения, я предложил свои услуги снять боль. Через несколько минут женщина была в добром настроении. Супруг заинтересовался парапсихологией — явлениями, не признанными официальной наукой, у него начало кое-что получаться, потому-то он и стал входить в этот дом на Фурманном...

Я спешил: ночным рейсом должен лететь в Красноярск. После нервных съемок на телевидении в «Артлото» чувствовал себя неважно и решил пойти по усеченному пути: показать один опыт, и пусть отцепятся, раз уж из-за меня эта каша.

— Попробую, но нужен кто-нибудь, кого ни я, ни вы не знали бы.

Дежурный с улицы привел какого-то восточного парня. Меня спросили, можно ли мои опыты наблюдать на черном экране: на фоне того куска толя, что висел на стене.

По мне — хоть на сивом... Ничего не появивая, я встал перед армянином, а может быть, грузином, и, глядя в глаза, «забрал его мысли» и бесцельно суггестировал падение вперед. Реализовав внушение, я поставил парня к себе спиной, протянул к нему руки и, не прикасаясь, начал формировать сигнал — притянуть его к своим ладоням — и в это мгновение услышал:

— Вновь стала оранжевой.

У меня возникло любопытство, что же стало оранжевым. «Аура», — просто ответил один из наблюдающих. — «А была?» — «У вас она малиновая». — «Прошу вас, скажите, когда

вновь станет оранжевой». — Меня это заинтриговало.

Через вескую паузу — специально тянул — я возобновил воздействие, стараясь внешне не выдать этого. И как только воображал падение подопытного — но не такое, чтоб на самом деле вызвать его, — то один, то другой отмечали изменение ауры. Это меня немало удивило. Затем я показал самый легкий опыт — эффект падения. Решился и на более трудный: усадил парня на стул, внушил ему, что он не оторвет свою приклеенную ко лбу руку; затем ту же руку «заморозил» в горизонтальном положении и повис на ней. Одеревеневшая рука свободно выдержала мой вес. Показав еще что-то, спросил, не желает ли кто другой испытать на себе мое влияние. После нерешительной паузы вызвалась женщина под пятьдесят.

Я протянул к ее спине руки, женщина нетерпеливо оглянулась:

— У вас болит сердце?

— Да, — ответил я. Мне действительно было скверно.

Моя реципиентка отвернулась. Я оценил ситуацию: она намерена сопротивляться. Проверить было нетрудно. Вытянув руки, я сигналы не давал, а она покачнулась вперед: застраховалась от падения назад. Я приказал ей покачнуться влево-вправо, что она и сделала, заявив: «Ничего не чувствую».

Экстрасенс — означает сверхчувствительный. Женщина, считающая себя экстрасенсом, таким образом принизила себя и, слава богу, не поняла этого. Если неискушенный понимает мой бессловесный сигнал, то как экстрасенс оказался бессильным расшифровать его?.. Скорее всего, она приняла наш эксперимент за состояние: кто сильнее.

С этой встречи я ехал удивленным тем, что такие явления все же всерьез заинтересовали ученых. А с этого началось все то, что не сходило со страниц газет, с языков досужей публики в очередях, с экранов телевизоров.

В июне восьмидесятого я приехал в эстрадную студию, что на ВДНХ. Тот же приятель помог мне снять квартиру на Матвеевской, минутах в десяти автобусом от метро Кунцевская. Хозяин трехкомнатки жил тогда в Польше. Мать его жены Анна Дмитриевна, интел-

лигентная женщина, с сыном, невесткой и трехлетней внучкой жила на другом конце города по Ленинградскому шоссе; работала в детской психиатрической больнице.

От Анны Дмитриевны раздался тревожный звонок: внучка стала сильно заикаться. Может быть, я чем-то ей помогу?..

Медицинская литература гласит, дети до пятилетнего возраста прямому внушению не поддаются — суггестировать им можно только через родителей. Практика это утверждение опровергает.

Оксана прекрасно увидела в светлом стакане золотых рыбок, которых, разумеется, не было. Воспользовавшись этим, я суггестировал девочке, что говорить ей легко. Разомкнул ее внимание с тем, что ее испугало и вызвало дефект речи.

На мой взгляд, заикание — это невырвавшийся звук, который стал как бы запятой в речи, закрепился в подсознании и породил неуверенность.

Намеренно не предупредив родителей, что может произойти в случае, если сеанс достигнет успеха, я попросил не поправлять девочку, не обращать внимания, как бы она ни говорила.

Уже на второй день бабушка не вытерпела, звонит:

— Вы знаете, Оксана стала заикаться еще сильнее.

И для нее, работницы психбольницы, наверно, прозвучало дико:

— Вот и хорошо! Завтра приеду.

Если бы у девочки осталось все по-прежнему или появилось малое улучшение — мое влияние впустую. Усугубление в данной ситуации — верный признак удачи.

После трех сеансов Оксана уже тараторила. Мое условие — сделать семейной тайной любую мою помощь. Но...

Вскоре раздался звонок: незнакомая женщина умоляла помочь ее ребенку или хотя бы взглянуть на ее бедное чадо.

— Это ошибка, вас просто ввели в заблуждение, я не лекарь.

— Я случайно в метро слышала разговор о вас...

Дело не в том, что я боюсь на незнакомых

и бесполезных растратить свой «чудесный» дар. Я, как и моя мать, успешно помогавшая людям полвека назад, а возможно, и ее бабушки-прабабушки, не имевшие диплома об окончании 1-го Московского или какого еще медицинского института, если случилось, шли людям навстречу, но делали это бескорыстно. Если сейчас против всего этого восстанут некоторые экстрасенсы с дипломом врача, то тогда ко мне просто-напросто могла заявиться милиция. Кстати, каким дипломом должен обладать экстрасенс: терапевта, психиатра, стоматолога, хирурга?..

Ведь тот уровень, на котором влиял на всю страну с экрана один из обладателей таких дипломов, — тот же самый, на котором индивидуально лечили всякие болячки неграмотные бездипломные старухи-шептухи. И если бы они это делали с экрана телевизора, то, возможно... (да я и уверен — хотите, попробуем), результат их был бы таким же массовым. Поэтому что диплом здесь играет ту же роль, что и стакан воды в руках знахарки.

...Как мог, я успокоил женщину и посоветовал ей обратиться к специалистам. Хотя уже знал, что она обращалась не только к ним... В конце концов просят только посмотреть...

СТЕНЫ СТЕКАЮТ В ПРОПАСТЬ

То, что я увидел, описанию не поддается. В однокомнатке, разгороженной шкафами, в каком-то желтовато-буром полумраке томится трехлетний ребенок-метис. Нормальное телосложение, большие черные глаза, которые ни на одном предмете не задерживают взгляда. Малыш постоянно кричит, что-то хватается, тянет-бросает, вырывается из рук — что-то от звериного. Словом — кошмар.

Стало жаль родителей: отец добродушный индонезиец, остался в СССР после окончания Московского автодорожного института; мать корейка — уроженка Кавказа, также имеет высшее образование, кандидат химических наук, и... такой подарок судьбы.

Мой отказ был бы еще одним ударом, новой рухнувшей надеждой.

Многие обладают способностью переместиться в чужую «шкуру», перевоплотиться в дру-

того, идентифицировать себя с ним. Актеры перевоплощаются в предлагаемой пьесе — стало быть, в выдуманный образ. Некоторые колдуны превращаются в своего, конкретного, пациента. Не часто, но мне удавалось такое проделывать. И ВОТ Я РЕШИЛ ПОБЫТЬ НА МЕСТЕ ЭТОГО РЕБЕНКА. Мать с отцом еле удерживают его. Мне надо иметь перед собой то, что видит он и обязательно лицом к северу. Я стараюсь войти в особое состояние, когда все мои интересы исчезают, когда я ничего вокруг не замечаю, когда дышу, как тот ребенок; когда становлюсь на его место, воображаю себя трехлетним, когда я мысленно кричу на одной ноте с ним. Вдруг отмечаю, что мои кулаки сжимаются в такт с его кулаками. Какой-то пережат во времени, что-то стряслось с моим вестибулярным аппаратом: заложило, пол зашатался и стал куда-то уходить, стены превратились в разноцветные лохмотья, полетели в бездну, откуда-то из пространства выплывали куски чего-то твердого, но постоянно меняющего свою форму. Страшные глаза, черные руки — все это летело навстречу, грозя смести, придавить к чему-то холодному, движущемуся сзади, расплющить. Что-то визжало, скрипело, скрежетало. Все эти, ранее не слышанные звуки, наступали неожиданно. Особенно раздражал скрежет. Ноги начинали бояться щекотки, появлялся невообразимый зуд. Тошнота усилилась, подступила рвота, но вырвало не меня, а ребенка. Все происходило в каком-то качельном ритме. То вдруг наплывало приятное состояние — нирвана, отрешенность, и это сопровождалось вяанием какой-то чистой краски, нисходило умиротворение, беззвучный покой и... опять и снова.

Вряд ли в этом состоянии я побыл больше двух-трех минут, но оно надолго лишило меня покоя.

Вспомнил средства, которые применяли у нас для «лажения» в подобных случаях. Не останови внимание ребенка — кошмары его докопают. Следовало понять, какие цвета действуют на него успокаивающе. Посоветовал создать ему соответствующую цветовую обстановку. Из собачьей и кошачьей шерсти связал две полоски, показал матери, что нужно с ни-

ми делать, как применить при уходе за больным, зарядил бутылку воды, чтобы ежедневно умывать ребенка ею. Все, чем располагал, — отдал и, не ругаясь за результат, но с малой надеждой на улучшение, уехал.

Через какое-то время женщина привезла ребенка ко мне на квартиру. С откровенной боязнью я решил вновь с ним идентифицироваться и с удивлением отметил — стены уже не плывут, но иногда надвигается тревога, переходящая в ужас: вот-вот из-за угла налетит что-то огромное, живое, с костяным туловищем. Для меня это вопиющая загадка: откуда такому ребенку знать о каких-то чудовищах? Уж не шалит ли моя собственная фантазия?..

Меня просто поразила героическая стойкость этой матери. Иные бросают здоровых детей, а эта безнадежно больного, постоянно требующего внимания, ухода и напряжения всех сил, носит на руках повсюду с собой. Причем «крест» этот несет безропотно, не выходя из себя. Им предлагали сдать его в особый интернат, и муж согласился на это. Но ради него она бросила свою карьеру. Стала разъезжать в поисках чуда исцеления. Психбольницы, частные врачеватели и целители, деды и бабки, шаманы и прорицатели, экстрасенсы. Обратилась она и в лоно церкви святой. Позже поехала в Болгарию к знаменитой Бабе Ванге, так обычно называют предсказательницу Вангелу Пандеву.

Человек, которому ты помог не только толковой исцеления, но и научиться или приобрести страсть к исцелению, не может не помогать другим. В этом появляется потребность. Это страховка: при мне останется умение, если я буду тратить его на других.

Не берусь утверждать, что я кого-то научил умению исцелять или хотя бы сам овладел им — нет. Но если бы один раз успешно это сделал — я причастен к чуду, и есть малое звено в большой хитроумно сплетенной цепи знахарства и магии.

Людмила Ким, так зовут эту женщину, давно интересуется целительством, а общаясь с представителями этого жанра, видя их действия, стала вникать в их суть. У нее появилось много литературы по парапсихологии, бесконтактному массажу, акупунктуре, магии, йоге,

трактаты индийской философии и тибетской медицины. Обладая превосходной памятью и настырным характером, она скоро освоила многие приемы и сама стала исцелять людей от недугов. Больной ребенок оказал ей в этом смысле важную услугу: он позволил ей быть вхожей в дома целителей.

Добрая по своей сути, она может быть настолько жесткой и даже жестокой, что порой трудно связать образы одной Людмилы с другой. Она может приветить, помочь, выручить. И она же просто-напросто выставит вас за дверь, словно вы с ней никогда не были знакомы. Ожесточиться у нее причин предостаточно: круглые сутки народ, приезд многочисленной родни и просто знакомых нужных и ненужных людей. Она тысячи дел успевает сделать за день. Муж, мягкий добрый человек, превосходный кулинар, терпит всех ее многочисленных гостей. А главное, такой ребенок, которого ни на минуту нельзя оставлять без присмотра.

Однажды — мы уже были дружны — Людмила попросила приехать по указанному адресу: срочное дело. Режиссер Любовь Леонидовна на своей машине привезла меня в Чертаново. В квартире от папиросного дыма не было спасу. Группа московских экстрасенсов бьется над пациенткой — попался редкий экземпляр — страшная зубная боль, которая упорно не хочет покидать поглянувшего ей зуба.

На кухне сидела средних лет женщина с распухшим от флюса глазом, не говоря уже о щеке. Целители настроились наблюдать, как я буду снимать боль, но я попросил оставить нас наедине.

Минут через десять я вышел из кухни. «Что, уже все?!»

Отвечать нужды не было, за моими плечами стояла недавняя страдальца и с удивлением водила нижней челюстью, все еще не веря, что зубы не болят, а опухоль на глазах стала увядать.

Способ удаления зубной боли я испытал на себе. Где-то году в 62—63-м с группой читинских артистов я был на гастролях в городе Зея Амурской области. У меня страшно раздурился зуб, верхний справа, коренной. В поликли-

нике сказали, его необходимо удалить. Удалить так удалить. Сделав мне укол, две женщины-стоматолога стали возиться с моим врагом. А он ни в какую. Они через зубило раскалывали его молотком так, что чуть мозги не сдвинули. Обе аж вспотели, и у меня по лицу градом пот. Уже кончилось действие наркоза... Я взмолился кое-как заточить этот злосчастный корень и оставить во мне до лучших времен. Эти лучшие времена еще не наступили, но всякий раз, когда обращаюсь к стоматологу, мне назначают удаление корня и всякий раз я прошу не трогать его.

А в тот раз я еле допелся до гостиницы, рухнул в постель и мобилизовал все мои силы. Тогда я вовсю занимался аутотренингом, хотя особых успехов не имел. И вот безвыходное положение — мобилизоваться! Я уже имел понятие, каким образом знаменитый То-Рамо, артист, факир и гипнотизер, выжил, когда его, раненого, отнесли в мертвушку, чтобы он там отошел в мир иной. А То-Рамо, мобилизовав волю, стал повторять: «Я выживу, я не умру, я не чувствую боли». И я стал повторять: «Я не чувствую боли». Не прикасаясь к щеке, как обычно делала моя мать, я стал водить рукой. Сначала круги были большими, но становились все меньше и меньше. И вдруг с удивлением отметил, боль, как уголек, сошла в одной точке, куда указывали мои пальцы, стала более конкретной, локальной. Уголек превратился в соленый комочек, а комочек, пульсируя, стал расплываться по щеке и скулам. С другой стороны я нечаянно надавил на какую-то точку. Точка отозвалась болью и как бы забрала часть боли с раздробленного зуба. С той поры эти корни меня не беспокоят. И это для меня в какой-то мере загадка. Убрав кому-либо боль, я всегда советую обратиться к стоматологу, ибо моя мера временная — так объясняю я, — зуб-то болят, возможно, и не будет долго, а процессы разрушения могут продолжаться.

Теперь-то ни за что не вспомнить всех, кому сделал облегчение от боли. Официальная медицина может вменить мне вину — незаконные действия. Но страдания разве законны? А стремления уменьшить страдания разве не гуманны?

«НЕЧТО» И «НИТЬ АРИАДНЫ»

Позвонила незнакомая женщина, пригласила на пельмени. Придет много людей, интересующихся парапсихологией. Пельмени меня интересовали меньше всего, а вот люди...

Любителей пельменей набралось порядочно. Меня познакомили со всеми, а особо с человеком около шестидесяти лет. Молодцевато подтянутый, чисто выбритый, тонкие чуть тронутые седinou над высоким лбом волосы, Владимир Иванович Сафонов. Ага, это о нем писал член-корреспондент АН СССР Спиркин. Это он по фотографиям определяет, от чего человек получил смерть, или — где в данный момент находится пропавший без вести. В компании я заметил несколько поклонников его дара.

Он поведал нам о книге Моуди «Жизнь после смерти», рассказал о плащанице, в которую якобы был завернут Иисус Христос во время его вознесения. И что американские ученые, обработав ее особым способом, получили изображение лица человека, и что он был мало похож на того, которого изображают на иконах. Потом рассказал, как научился снимать головную боль у коллег.

Молодой парень попросил обследовать его и сказать: что у него болит. Сафонов поставил того перед собой и, протянув к нему руки, отвернулся. Стал медленно водить ладонями, одновременно говоря, что у того нарушено. Парень стоял не шелохнувшись, не говоря ни да, ни нет. Я запомнил одно — Сафонов сказал: «У вас болит правая рука вот в этом месте», но когда он перестал диагностировать, парень ответил: «Да, рука болит, но боль я ощущаю вот здесь». — «Бывает, болит там, а человек ощущает тут», — ответил на это Владимир Иванович.

Мы распрощались, потеша друг дружку надеждой на встречу — «где-нибудь, как-нибудь».

Вскоре я получил приглашение к Сафонову на «четверги», где съезжались не только москвичи, но и любители парапсихологии окрестных городов. Приезжали даже из Архангельска. Психологи из космического городка; писатели Сергей Михалков, Владимир Мезенцев и другие.

Всех своих гостей Сафонов в шутку встречает: «Новые шизики появились». Над входной дверью в зал изображение Иисуса Христа, которое якобы пересняли с плащаницы. Лик Христа действительно не такой, какой мы привыкли видеть на иконах и изображениях художников. Мужественный мужчина с окладистой бородой, а вовсе не женоподобный худощавый парень.

Посреди комнаты огромный круглый стол. На чистой скатерти бутылки, фрукты, закуски. Желаящий может выпить — никакого принуждения. Неторопливо идет беседа на свободную тему. А уж коли собралось общество с определенным интересом, чаще всего говорят о биополях, экстрасенсах, спиритизме, затрагивают целительство, диагностику, медицину.

Мне нужен был помощник. Вызвалась женщина спортивного телосложения. Видно было, что и характер тоже спортивный. А с такими нужно вести себя особо настороженно, ибо они прекрасно владеют собой. Только после я узнал, что Евгения Петровская — заместитель главного редактора издательства «Физкультура и спорт». Оставив Петровскую посреди большой комнаты, я ушел в малую, вытянул руки в ее направлении — все это фиксировала женщина, стоящая в коридоре, — как только начинал визуально формировать сигнал ее качания, Евгения Андреевна падала в ту сторону, куда приказывал. Это самый легкий эксперимент.

За столом мы сидели рядом с Владимиром Георгиевичем Трепетцовым, старшим редактором того же издательства «Физкультура и спорт». И обнаружили удивительное совпадение видения ауры. Он напишет на листе бумаги: «У девушки в черном — голубая». Я ему показываю свой листок — «голубая». Фиолетовая — фиолетовая. До этого мне казалось, человеческому зрению свойственно воспринимать очертания любых предметов с какой-то дифракцией — естественно перевести взгляд с черного на белое, изображение получится негативное. После зеленого увидишь красное. Но... ведь аура над людьми даже с одинаковым цветом волос разная. Об этом я никогда не задумывался. И только теперь ауре стал придавать особое значение. Таинственное.

По Москве ходят две книги страниц по 500, отпечатанные на машинке и размноженные на ротапринте. Они имеют популярность, на черном рынке их продают за большие деньги. «Нечто» и «Нить Ариадны» (не белевские). О них мы разговаривали втроем в троллейбусе с женщиной-врачом и руководителем ансамбля «Русская песня» Надей Бабкиной, которые, как и я, интересуются парапсихологией. А ехали мы из института радио имени Попова, где профессор Винчунов читал лекции по биоэнергетике, впоследствии мне стало неинтересно, и я перестал ездить туда. Но там я и держал в руках эти толстые фолианты, перелистывал и кое-что прочитал.

И только при третьей встрече с Сафоновым до меня дошло, что это он автор этих книг. Действительно, так и кажется, что в этом доме обитает нечто, что притягивает любопытствующие души людей, а «нить Ариадны» рано или поздно приведет в эту гостежеланную обитель.

В то время опубликовать в нашей стране эти сафоновские работы было делом безнадежным. А вот в декабре 89-го мы вновь встретились с Сафоновым за «круглым столом» в редакции «Комсомольской правды», и он сказал мне, что несколько издательств заинтересовались его книгами. Даст бог...

АЛАН ЧУМАК

Я приехал на Герцена, 16, в институт общей психологии. Академик Андрей Иванович Прохоров сидел в небольшом кабинете за огромным письменным столом, на котором были беспорядочно разложены разные предметы. Напротив академика сидел молодой, но уже довольно седой человек с густой шевелюрой. Видать, нелегкая судьба сделала его таким. На фамилии-отчества память у меня неважная, но это сочетание — Алан Чумак — врезалось с ходу.

Андрей Иванович поведал, что его отдел занимается изучением парапсихологических явлений. Рассказал, где и какие группы этим теперь занимаются. В частности, дал обширную информацию о новосибирской группе, которой

руководит Леонид (Влаиль) Петрович Казначеев — академик АМН СССР, директор института клинической и экспериментальной медицины. Биоэнергетикой, излучениями человеческого организма интересуются ученые всего мира. Теорий, гипотез множество, но... научной основы пока еще нет. Московский институт радио и электроники имени Попова изучил весь спектр радиоволн, но биополя, как его принято понимать, обнаружено не было.

Прохоров в деликатной форме попросил рассказать, каким образом я обнаружил у себя необыкновенные способности. На «четвергах» у Сафонова бывали сотрудники этого института, по-видимому, им я и обязан приглашением в этот кабинет.

— Кто-то вас ввел в заблуждение, Андрей Иванович: особыми способностями я не обладаю и слыть сверхчеловеком считаю неумно. Интересуюсь явлениями подобного порядка — они помогают в моей профессии эстрадного фокусника.

...Жил я в обстановке еще не затухающих духовных веяний. В селе Нижний Калгукан Читинской области многие, умудренные жизнью, занимались тем, чем наука лишь только теперь заинтересовалась. Заговоры — от шуточных до серьезных, разные приемы народной медицины применяли сами и советовали страдалцам. Заниматься этим просто-напросто были вынуждены, ибо образованных медиков на район было раз-два и обчелся. Такое дело для нас было нормой жизни.

И нынешняя волна интереса и внезапного обнаружения этих способностей связана с той же причиной: с медициной у нас по-прежнему плоховато.

Моя мать росла в полусиротстве и уже семи лет заботилась о курах и свиньях, пасла овец. Мачеха к ней и ее старшей сестре Степаниде была строга и в раннем детстве содержала в одном зимовье с курами, поросятами, телятами. А тетка по материнской линии была сердобольной и, чтобы облегчить участь сестриц, стала обучать их молитвам и лажениям (заговорам, целительству).

Каля, моя мать, была смышленной, обладала редкой памятью. Не зная грамоты, она пом-

Нила много баяльств. Когда я прочитал «Атхарваведу» — древнеиндийскую книгу заклинаний и тексты из Тибетского «Ганжура», то удивился, как сильно похожи ее «умаления бога» и «славы».

Лет в десять от роду Каля избавила от головной боли гостя, дальнего родственника мачехи. С долгой дороги он пожаловался: «Какой день голова раскалывается, пошевеливуться не дает». Девочка приблизилась к нему и в благодарность за гостинец, творожные коржики, стала молча «мять» голову, как это она делала своей тетке, обучающей ее этому умельству, и сестренке Степе. Дядька прикрыл глаза и полностью отдал себя в руки худенькой крохотули. Когда девочка отошла, он еще долго сидел, словно не веря, что голова его чиста и свободна. Потом поднялся, сияющий, удивленный, и тут же при отце, при мачехе:

— Ты настоящая колдовка, Калька!

Мачеха испугалась. А когда девочка стала и прочие хворобы рукой сымать — та, набожная, и вовсе струсила. И убедилась в недавнем своем предположении...

...Было время вечеров, когда после короткого зимнего дня молодежь собиралась в чьем-нибудь дому: прядут, вяжут, вышивают, песни поют, пляшут, сказки говорят. Были вечера специальные: хозяева приглашали молодежь, скажем, кожу тальками мять, овчины, мерлушки выделывать, одеяла стегать, потники, валенки валять — пимы. Но в некоторых сибирских деревнях были заведены и «ночевухи»: парни-девки, входившие в пору женитовства, собирались вместе и устраивали ночевки у кого-нибудь. Расстилали на пол что попало и ложились: девка — парень, девка — парень, гасили свет и разводили «хаханышки». Может быть, испытывали себя на устойчивость.

Степке и Кальке было еще далеко до этого времени, но мачеха, дабы пресечь привычку к шлянням, наказывала девочек. Маленько задержались — сенные двери на заложку, якобы с тем, чтобы чалдоны не забрались случайно. Вот и мыкайся на стуже. Но смекалистая Калька с помощью прутика и скотской жилки научилась эту заложку уговаривать — «заговаривать». Отец, вынуждаемый мачехой, решил по-

беседовать с дочерьми, сказал им, что мать шибко печется о них и хочет, чтобы они на случай-беду не шлялись допоздна. А экономная мачеха — зря не жечь жир — ложилась в постель, как только темнело, когда добрые люди начинали собираться вместе. Ведь работа почти у всех была не избыная. А пропустить вечерку, где так весело и интересно — что-то новенькое узнаешь, — да вечерки-то не всякий день, а раз-два в неделю — это сестренкам было не под силу.

И все же они ушли. Пала ночь. Хозяйка, убедившись, что «заблудяжек» дома нет, замотала ременными вожжами дверь, так что открыть их можно с трудом изнутри, — помолившись, улеглась почивать. Савелия, мужа, дома не было — куда-то уезжал. Утром проверила — дверь в порядке, а где девчонки?.. Девчонки сладко поспыывают в своей постели. Можно себе вообразить выражение «матушкиного лица»!

Все было очень просто: Степа вышла, а Калька забралась на чердак, подождать, пока «мама» дверь не замочает веревкой. Дальше еще проще...

И по отцовской линии дед Григорий Григорьевич был очень набожным, он с великим тщанием соблюдал религиозные праздники. Старшая невестка — моя мать — пришлась ему к дому. Здесь она развила свои способности избавлять людей от каких-либо немощей.

Я же со школьной скамьи был заядлым атеистом, тем более ни церквей, ни попов не видел. Правда, в нашем доме висели «ликоны» — так называли образа: на них написаны «лики», но у кого они не висели... Меня убедили, что бога нет. Нет — раз об этом говорят учителя, а их авторитет был неоспорим. Причем в памяти сельчан еще вибрировал отзыв тридцать седьмого года, который заявил: кто в бога верует, тот меньше верит в товарища Сталина, а стало быть — не советский...

— Моя мать была суеверной, — продолжал я говорить Андрею Ивановичу, — и верила в то, чего на самом деле быть не может...

— Ну почему же так, — мягко возразил Прохоров. — Если она, вознося молитву, обращалась к какому-то верховному существу, в существовании которого она не сомневается, —

это ей придавало силы и уверенности, она надеялась на защиту, верно?.. Стало быть, «сила» была и она помогала. Бог для нее был идеалом...

— Идолом, — добавил Чумак.

Кстати об идоле. Идол — это не портрет бога или святого, как в иконописи, но то, чему поклоняются, и он существует в одном экземпляре — подлинник.

— Да, — продолжал академик, — идолом. Как только человек начал осознавать опасность — до этого он ее только чувствовал, — он сразу стал искать защиту — от непонятного в непонятном же. Что ему придавало душевное равновесие. Божество для многих и ныне не какое-то могучее существо, похожее на нас, а та ошеломляющая воображение гармония, то — свыше, — во что верит человек. Религия не такое уж простое, как нам кажется, дело...

В то время (1982 год!) — мы еще яростно боролись с религией — и слова академика звучали ересью.

— Чтобы отвергать что-то, нужно это «что-то» хорошо знать. Отвергали всегда и всё: всё, что выходило за рамки нашей идеологии. А если это «что-то-нечто» не помогает, так любой без посторонних может разувериться. Только с помощью веры в достижение цели можно обрести силу движения к ней. А возьмите веру в непреклонный авторитет?..

— Люди могут советоваться с умершими, — высказал странную мысль Алан Чумак, от которой у меня внутри пошел холодок.

...Мне припомнилось странное сновидение в Усть-Камчатске. Группой из пяти человек мы гастролировали по этому удивительному полуострову. В памяти и теперь стоит пронзительная сплошная белизна да пирамиды вулканов, курящихся и мертвых, да действующий Толбачик. Все это, видимо, ошеломляюще повлияло на группу, оказавшуюся вольными песчинками в этом необъятном: запыли. Ведущий, который на моих глазах крепился от выпивки три года; бригадир, он же на сцене — «Борьба панайских мальчишек»; две только что принятые ассистентки. Пили после каждого концерта. Мои увещевания и угрозы администратора камчатской филармонии действовали не больше, чем легкое дуновение ветра.

Администратор позвонила в Петропавловск-Камчатский и отказалась продолжать с нами гастроли. Вместо того чтобы снять нас с маршрута, к нам прикомандировали молодую девушку, пробующую себя на ниве зрелищного искусства. Та с первого вечера зажила общими интересами коллектива. А он «прочню» распался на две половины: все остальные и я. Надо было работать, иначе останешься без зарплаты, а она у меня была не ахти...

И вот в последней точке нашего маршрута — Усть-Камчатске — повалил такой снег, что света белого не видно. Администратор заверила, что засели не меньше чем на неделю. Мы повторили концерт в Усть-Камчатске и «поселились» в ресторане. Я сдался. Коллектив был весьма рад, что я влился (впился) в их команду. Ведущий по этому случаю заказал дикой крепости коктейль... А наутро мои предусмотрительные сообщники принесли шампанского, и веселье продолжалось три дня. На четвертый администратор радостно сообщила, что наш концерт хотят видеть на рыбзаводе.

Перед тем злосчастным концертом мне пришлось срочно приводить себя в порядок: несколько холодных душей. А после концерта возвратился в жаркий номер. Форточка была открыта настежь, за окном качался фонарь. Сначала в полуосвещенной комнате раздвинулись стены и вокруг меня остановилась толпа дымно-серых людей. Я видел их лица, которые то удлинялись, то сплющивались, размывались, вновь образовывались. Фонарь раскачивался все сильнее и создавал странное впечатление идущей кругом комнаты. И вдруг я увидел в окне давно умершую маму. Сдвоенные рамы окна и намет снега выписали на стеклах ее очертание. И я с ней беседовал, но не при помощи слов, а каким-то другим — ментальным — образом. Описать это невозможно. И все же я это сделал.

Чтобы понять, что произошло в эту ночь, нужно знать, что этому предшествовало.

Это видение, как помнится, было накануне 12 февраля. Лишь потом вспомнил, что 12 февраля 1955 года в 12 часов дня на моих руках умерла моя мать.

ВИДЕНИЕ, ИЛИ РАЗГОВОР С МЕРТВЫМ

Моя мать (давным-давно):

— Прости меня, сынок...

Я (теперь):

— За что, мама?.. Тебя двадцать три года нет в живых, но ты, как обещала, пришла. Я тебя слушаю...

Я не пытался разгадать твою тайну, мама, потому что всегда думал головой, а не сердцем. И была ли она у тебя — тайна...

...За пять минут до того ты попросила пить. За двенадцать дней до этого ты разрешила родным дать телеграмму в мою войсковую часть, чтобы меня отпустили попрощаться с тобой. Приехал я второго, а одиннадцатого февраля обязан был возвращаться на службу. «Мама, завтра мне уезжать». — «У тебя еще один день. Побудь со мной», — простонала ты. Но почему же тогда, 10-го, отпустила в Калгукан своего старшего сына Ивана и невестку Пану?

Ты хотела остаться со мной наедине?

Последний наш день. Ты почти не могла говорить. Все десять дней и ночей я слышал только твои стоны. Подавал тебе пить да поворачивал с боку на бок — с пролежней на пролежни. Я сидел в ногах твоей кровати, передо мной на столе лежал альбом фотографий нашей семьи. На единственной из них мой отец вместе с нами. Я, годовалый, у тебя на коленях; дядя Паша с теткой Нюшей; дядя Антон с теткой Парасковьей, та с Илькой на руках; рядом стоит их Марейка... Ты попросила пить, тебе вдруг стало легче. Говорят, так бывает всегда, когда организм перестает бороться за жизнь и теряет способность воспринимать боли. Мне показалось, что ты вдруг помолодела и щеки твои порозовели. Забыла стонать. Нашла силы положить свою руку на мою и, что, всего удивительнее — улынулась! Свет озарил комнату. Твоя рука проскользила по моей:

«Возьми себе все, Володюшка».

Как же я тогда не понял в этих твоих спокойных словах крик твоей осветленной уходом души, что «все» — все, что нажито дедами-прадедами, тобой, отцом и мной — это потре-

панный альбом с фотографиями, на которых ни дедов, ни прадедов. Я легкомысленно пообещал: «Возьму, мама». — «Бери, сынок». — «Беру, беру».

Уложив тебя поудобнее, я отошел и сел на стул, дабы не шелохнуть твою кровать. Не прошло и минуты, как меня оглушила тишина. «Мама, мама!» — я приподнял тебя, но тебя уже не было.

Я опустил твою голову на подушку, прикрыл веки, остановил часы. На них было ровно 12. Я не мог плакать, хотя в общем-то слезливый. Назавтра сошлись, съехались твои дети: из Нижнего Калгукана Ваня с Паной; с Клички первой — Василий с Анной; из Бырки — Полина с мужем Федором, с ними же приехала твоя сродная племянница Люба Чагина. Ты лежала в белом платочке на стульях у стены. Мы сообщали радовались тому, что тебе уже было не больно. Сообща горевали, что тебя теперь не будет никогда.

Похоронили мы тебя на Кличкинском кладбище, поставили маленький деревянный крестик и ушли. И осталась ты лежать среди чужих.

Назавтра я уехал в Бырку в райвоенкомат, а оттуда в свою часть. Меня заверили, что по весне, когда с сопки вознесется снег, тебе поставят памятник и могилку твою огорожат, и мы будем помнить и иногда приходить к тебе посидеть, подумать, посоветоваться. А когда невыносимо, взять с могилки земли, потерять там, где сердце.

Но случилось так, что из Клички все твои родные вскоре уехали. Когда в 1957 г. я демобилизовался из армии — я поехал в Кличку. В первый же день пошел на твою могилку. Она затерялась среди других. Знака по тебе не осталось. И закаменевшую грудь потерять было нечем. Мы виноваты перед тобой в том, что потеряли священную пядь земли. Крест или другой знак памяти я не мог поставить на чужую могилу. Лишь большой камень лежит на кличкинском кладбище, который примерно знает, где твои останки. Бывая в Кличке, я иногда приходил на кладбище. Как тяжело сознавать, совестно, мама, что я не знаю, где твое последнее место на земле. Альбом жена увезла на Урал, и больше я его не видел.

Но что-то ведь осталось... Потому что ты завещала мне совсем другое наследство.

«Возьми себе все»... А не значит ли это, что ты наделяешь меня какими-то твоими самою неосознанными силами?!

А что если попробовать, творя тобою переданный когда-то заговор, водить так же рукой над телом?.. Да, я чувствую, проведя рукой над головой, какое-то изменение. А почему человек обычно держится рукой за больное место?.. Почему дуют на уши? Почему бывает облегчение, когда человек касается тела другого? Отчего с одним человеком легко находиться в помещении, с другим тяжело? Почему при изменении погоды меняется самочувствие? Почему человек не может долго смотреть в глаза другому? Почему прямая брань действует иногда меньше, нежели какой-то далекий намек? Эти «почему» стали образом моей жизни. Уж не возвращаюсь ли я в детство?

А ЕЩЕ ИГОРЬ ЧАРКОВСКИЙ

— Хочу вас познакомить, Владимир Андреевич, — сказал Прохоров. — Вот наша знаменитость, — он показал на парня, сидевшего на столе. — А вот о нем статья во вчерашнем «Огоньке».

Так мы познакомились с Игорем Чарковским. Мельком заглянув в статью, я вспомнил — это он учит грудных детей плавать под водой: видел по телевидению. Мы было начали с ним ориентировочно-ознакомительную беседу, как женщины, заинтригованные его рассказом, просто потребовали удовлетворить их любопытство. И мне было страшно интересно слушать, как Игорь собирается провести задуманный им эксперимент — роды женщин среди дельфинов. То есть использовать этих умных животных в роли повивальных бабок. А еще провести сеанс телепатической связи с космонавтами во время их полета.

Я разрывался на части: нужно было ехать в студию на занятия; Алан Чумак манил к себе; Чарковский хотел со мной о чем-то потолковать. Наконец Игорь Борисович сказал, что на днях он будет выступать в редакции «Строительной газеты». Уговорились созвониться.

...Жил Алан Чумак тогда в одном из переулков близ метро «Проспект мира». В старом доме, со старомодной планировкой квартиры.

В его рабочей комнате были мужчина и женщина в годах, внешне очень похожие друг на друга. «Вы чувствуете, что энергетические каркасы у обоих одинаковы», — сказал Алан, — муж и жена, долгие годы вместе. И болезни сходные: поражение всего пищеварительного тракта». Клиенты оба худые, мужчина особенно сухошав. Кожа на лицах и руках белая с желтоватым оттенком. По всему видно — интеллигенты. Он — в министерстве занимает важный пост. Лежал, — как он сам рассказал мне, когда Алан куда-то вышел, — в Кремлевской больнице. Дошло до того, что никакие средства уже не помогали. Все, что бы ни съел — наружу. Полнейшая анемия, гиподинамия. Тогда-то и напали на след Алана. Первый раз привезли и внесли в дом на носилках.

— Семнадцатый сеанс. Пешком пришли, — с гордостью сказал он.

— Врачи его уже отпели, — вставила женщина.

Алан Владимирович приступил к целительству (колдовству, камланию, шаманству, mesmerismu, софорозу, гипнозу, суггестии — как хотите назовите, но это было искусство).

Сосредоточенно увеличивал динамику пассив. Стоя сзади сидящего на стуле мужчины, проговорил: «Весь пищеварительный тракт был негоден. Не ел, не мог вставать, а вот поставил я его на ноги. Еще несколько сеансов, и бегать начнет».

Прошло пять минут, десять, а Алан все действовал, не нарушая ритма. Он мысленно выставил энергетический каркас пациента перед своими глазами и работал с воображаемым телом. После я спросил, что же чувствует больной. Чувствует он, если целитель проводит по воображаемой голове, то и у его головы словно невидимая рука делает то же самое. Чумак «входит рукой в пищевод, гладит желудок, что-то выбрасывает, прочищает кишечник». Длительные шаманские действия сосредоточивают, завораживают, и я теперь не в силах оторвать внимания. Я ставлю себя на место того пациента и чувствую эти лег-

кие взмахи и поглаживания у себя внутри.

Колдун что-то вытягивает из меня — на-
верное, знает, что, и я чувствую толику осво-
бождения. Он что-то берет из воздуха невиди-
мое, вставляет, и в чреве ощущается прият-
ный холодок и щекотка. Потом это «нечто»
теплее и становится моим.

Идет самая настоящая трансцендентальная
медитация, только она достается легче, пото-
му, что не нужно бороться со своими сомне-
ниями. И если целитель говорит мне, что он
делает, — это мне, «пациенту», мешает. Ибо
мой организм, независимо от того, верю я или
не верю, перерабатывает информацию и оттор-
гает ее, как инородное тело. Возможно, что-то
и остается в ужатом виде без многих деталей.
Но настроенный на что-то организм или ор-
ган сам в это время, используя огромные ре-
сурсы, восстанавливает себя. Тогда защитная
реакция работает в полную силу.

Здесь вступают в действие два фактора:
настрой и ритм. Поставьте в Москве рядом с
передатчиком один приемник, а другой от-
правьте, скажем, во Владивосток. И вы сред-
невековому образованнейшему человеку могли
бы продемонстрировать чудо из чудес. За ты-
щи верст вашу речь услышат, но точно такой
же приемник, стоящий рядом, будет молчать.
Почему? Да потому, что тот, что рядом, не
настроен на волну передатчика. Эти условия
необходимы и в акте целительства.

Если действует первый фактор — настрой, —
должен вступить и второй — ритм.

Все, что гармонично, — ритмично. Миры рож-
даются и умирают. Если верить ученым, был
взрыв ничтожно малой точки, и родилась Все-
ленная. Она стала разлетаться во все сторо-
ны, образовалась материя, родились галакти-
ки. Вселенная расширяется до тех пор, пока
действует так называемая эндогенная сила —
сила изнутри, когда она иссякнет, вступит в
права экзогенная сила, и Вселенная начнет
сжиматься. Вся масса галактик идет по кругу.
Земля движется вокруг Солнца, сменяя време-
на года; Земля вертится вокруг своей оси, сме-
няя день на ночь. Ритмично наше дыхание,
ритмичен обмен веществ. Сердце ритмично
подает к органам очищенную обогащенную
кровь, ритмично вымывает шлаки. Ритмично

делится ядро клетки, в своем ритме рождаю-
тся новые клетки, обновляется и стареет ор-
ганизм. Миллиарды нейронов головного мозга
ритмично то заряжаются энергией, то отдают
ее.

Непомерная нагрузка на какой-то орган, рав-
но как и отсутствие таковой, выводит его из
строя. Абсолютно здорового человека поло-
жите на несколько месяцев в постель, и ему
вновь нужно будет учиться ходить. Организм,
просуществовавший с неполноценным органом,
может передать свою дисфункцию по наслед-
ству. Болезни появляются от разных причин:
может быть, чего-то не хватает в пище, ка-
ких-то элементов — аминокислот, белков, угле-
водов; или наоборот, чего-то излишек; быть
может, подействовало какое-то излучение, ка-
кие-то вредные вещества в воздухе; возмож-
но, подействовало общение с плохим челове-
ком или обществом — такое возможно. Да ма-
ло ли от чего — от инфекции, от вируса, от
курения — может расстроиться организм. От
нарушения чувства обоняния и т. п.

Болезни могут рождаться и умирать. А ста-
ло быть, и у них есть свой ритм. Любой рас-
строенный орган, даже проткнутый иголкой
палец, вносит диссонанс в весь организм.

Если бы человек при своем рождении знал,
что ему нужно уметь управлять организмом —
он бы научился этому. Нет, он, конечно, уме-
ет управлять, но так мало, что смешно и го-
ворить об этом. Организм управляет сам и,
жалая нас, бедных, недолгоvekих, говорит:
ладно уж, любимые мои, занимайтесь любовью,
наслаждайтесь жизнью, огорчайтесь, завидуй-
те, злоупотребляйте, выходите из себя, лени-
тесь, паникуйте. А я сам за вас буду управ-
лять сердцем, буду регулировать дыхание, бу-
ду поддавать вам и нагонять страху: где опас-
но, давать вам знать, когда побережись
холода, когда жары, когда чего. А здоровье-
то, невидимка-неслышимка, — его не замечают.

От неправильного образа существования или
несчастных случаев (бывает и от «счастливых») —
где-то там, чего не ощущаем, произошла ава-
рия. Может быть, мы ее еще не слышим, а
организм начинает к ней приспосабливаться,
пытаться самортизировать, чтоб уж не очень
нам, родименьким, докучать, — оберегать ее

от нас же. Ведь у него полно ресурсов — он их туда, на починку.

И уж потом, когда произошел срыв, недопоставка, недообмен, — он паникует и звонит вверх в наше «я», в нашу самость. Мы, испугавшись не испугавшись, на всякий случай начинаем пихать ему в «хайло» химию. Он пугается да на время и прикусывает язык. А химия ведь она дама с норовом: здесь исцеляет, а там вредит — ей тоже, может быть, нужна мера, а мы меры-то не знаем, неопытны. Глядишь, уже начинается рассогласование, собой ритмов. И ресурсы — «запчасти» — начинают бешено таять. И «самость» эта самая начинает верить: «Все, каюк, крышка!» Человек существо мнительное, потому как умное, — он начинает себе внушать, строить всякие фантомы. Помните рассказы ампутированных: пальцы правой ноги зудятся, а почесать нельзя — правой-то ноги вовсе нет. Все ли больные поручатся, что у них болит именно то, что они ощущают?.. Химия вроде бы начинает филоинить, ее действия, ранее благотворные, становятся все короче и короче. Наступает время писания завещания. Паника. Паническое состояние характеризуется изменением личности, как в гипнозе. В гипнотическом состоянии можно внушить черт-те что...

И тут явился другой... — Алан. Он прежде всего говорит: стоп, не паниковать. Химии в досталь. На крайний случай можно маленько прадедовского средства — пантокрин, сделанного из пантов молодых оленей. Но это так, для смазки, для сопутствия. Он начинает с того, чтобы установить мир между рассорившимися органами: ведь каждый качает свое — ритм сбит. Сбита потребность в приеме пищи. Сердце, легкие, почки, печень, гипофиз, поджелудочная железа, желчный пузырь — короче, все функционеры словно уронили свои часы, разбили и давай на глазок определять время, когда и что им нужно делать.

Целитель начинает с того, что устанавливает свой ритм. Хочет того больной или не хочет, он этот ритм ощутит, а потом и постепенно в него войдет — всеми фибрами тела. Это единственно великая эзотерическая тайна магии — ритм. Ритм — музыка и гармония Вселенной. Монотонность, шум дождя, шаги,

говор ручья, водчий вой, собачий лай, крик совы, зов кукушки, карк вороны — все может приковать внимание. Но шаманский бубен, колдовской напев, пассы экстрасенсов могут это внимание просто пожирать и даже, как ни странно, лишать вовсе. Жертвы великих колдунов впадали в такие состояния, что как бы находились некоторое время по ту сторону существования. Даже во сне у человека настроено внимание. Даже у самого рассеянного человека оно есть. И вот поглощение внимания другого есть вторая тайна магии.

Основываясь на выводах ученых и на собственном наблюдении, режиссер-новатор К. С. Станиславский отмечал: «Существует три круга внимания — большой, средний и малый. Если человек старается изучить вокруг себя все — он пользуется большим кругом внимания; если он обратил свой слух и взор в одну сторону, он пользуется средним кругом внимания; если старается изучить какой-то предмет — малым». Нельзя обойти и концепцию Ухтомского о доминанте внимания, которая постоянно на посту в мозгу человека и руководит его поступками. Если главенствует доминанта голода, то человек старается утолить его. Половая доминанта внимания провоцирует человека на поиски партнера. Доминанта страха побуждает обезопасить себя. А особенно терроризируют человека неестественные доминанты — доминанты дурных привычек.

В понятии о необыкновенных состояниях человека не обойтись без такого вида внимания, как перверсивное. В гипнозе, когда устанавливается прочная связь гипнотика с гипнотизером, сознание сужается, перенесение внимания становится невозможным, создается раппорт. Глубина гипноза увеличивается и становится как бы бездонной. И тогда, как и в аутотренинге, получается перверсия внимания — оно полностью теряет связь с внешним миром, оборачивается в собственное подсознательное «я». Почему и получается «чудо»: в гипнозе можно изменить состояние сознания, разомкнуть внимание и стереть доминанту дурной привычки, устранить тем самым причину дисфункции организма.

А йог в таком состоянии может заставить весь организм так замедлить свою жизнедея-

тельность, что со стороны можно констатировать смерть. Он ничего не станет оценивать, время для него теряет значение. И он из своей памяти может извлечь то, что в обычном состоянии он никогда не вспомнит. Теоретически ощущениями можно уйти во внутриутробное свое существование. Находятся смельчаки, которые утверждают, что могут вызвать в памяти человека первобытное состояние его далеких предков. Не знаю, но ведь инстинкты передаются по наследству. А они приобретенны опытом, а стало быть записываются в памяти и остаются в генетической кассете. Я сам был однажды поставлен в тупик, когда идентифицировался с большим трехлетним мальчуганом, и меня одолело предчувствие, что из-за угла налетит что-то огромное, живое, с костяным туловищем. Откуда мальчишке известно про это живое, костяное? Моя собственная фантазия?.. Тогда почему именно в этот момент вырисовывалась такая картина?..

«Ясно, что всякое предчувствие есть химера; в самом деле, как можно ощущать то, чего еще нет?

...Предчувствия большей частью связаны со страхом; им предшествует тревога, имеющая свои физические причины, причем не ясно, что служит предметом страха...»

Эммануил Кант
(Соч. Т. 6. С. 424)

Человека помешанного называли провидцем. Древняя пословица гласит: к гениальности примешивается некоторая доля безумия.

Экстрасенсы, как правило, открывают в себе дар целительства или предопределения после какой-то катастрофы или болезни. И с точки зрения медицины все они несколько ненормальны. И, по-видимому, спонтанно обнаруживают у себя способность к этим двум тайнам — приковывать внимание и задавать свой ритм. Другие тайны поменьше. Но труднее даются целителям. Иным они не даются вовсе. Одна из них — эмиссия (излучение).

По китайскому учению Дао (путь), существует две энергии, два начала — Инь (женское) — красный цвет, сжатие, принятие внутрь, покой, пассивность, плодородие земли, сосуд; и Янь (мужское) — синий цвет, движение, рас-

ширение, отдача. Инь с отрицательным, а Янь с положительным потенциалом.

Если пристально вглядеться в образ Иисуса Христа, можно заметить некую странность. Эмпирически ли эту странность вывели живописцы, создатели Библии и апологеты христианства; случайно или намеренно? Иисус Христос обладает обоими полями энергии, обоими началами — Инь и Янь. Он существо двуполое или взаимоисключающее — бесполое. Он мог быть только учителем. Ибо мудрость бесполоа. Это парадокс: мудрец производит не тело, но руководство для противоречий.

Но вера не мудрость. Они в противоречии, в антагонизме. Мудрость, умершая в вере, — магия. Без магии не будет и целительства.

Я преклоняюсь перед людьми, которые ищут магию в себе, но не для себя.

Беру на себя смелость утверждать, что Алан Владимирович Чумак на моих глазах занимался магией, ибо в его действиях была таинственность. Действия Игоря Чарковского в некотором смысле тоже магия. Мы созвонились с ним, и он пригласил меня на встречу с журналистами.

В просторной аудитории был полумрак, стоял кинопроектор, на стене висел экран. Более двух часов Игорь Борисович защищал свою теорию рождения человека под водой, он показал два снятые им фильма об этом и о том, как грудные младенцы с первых дней рождения могут плавать в воде, а чуть подростки — уже играть под водой. Отрывки одного из этих фильмов я уже видел по телевидению, и меня они поразили. Но с какой воинственностью Игорь в то время (!) — 1982 году — доказал два снятых им фильма об этом и о том, уровне. Устроитель этой встречи, высокий седовласый мужчина, поглядывая на своих коллег, только осуждающе покачивал головой. Чарковский отстаивал примерно то, что говорил чеховский художник, герой повести «Дом с мезонином»:

— ...Нужны не школы, а университеты.

— Вы и медицину отрицаете?

— Да. Она была бы нужна только для изучения болезней как явлений природы, а не для лечения их. Если уж лечить, то не болезни, а причины их..

Правда, чеховский герой говорит, и для нас звучит как противоречие: «Устраните главную причину — физический труд — и тогда не будет болезней». Конечно, он имел в виду тяжелый, изнуряющий физический труд. Но и умственный изнуряющий труд тоже на одном коромысле с болезнями.

В этом же рассказе Чехов не отрицал — а ведь он, как известно, был врач — исцеление безлекарственным образом: «Вчера у нас в деревне произошло чудо, — сказала она, — Хромая Пелагея была больна целый год, доктора и лекарства не помогали, а вчера старуха пошпала, и прошло».

...Вот и Игорь Чарковский задался целью устранить причины болезней. Он считает, что самый большой стресс человек получает при рождении, когда на него обрушиваются пути земной гравитации.

К своему открытию Чарковский пришел совершенно случайно и вынужденно. У него, научного сотрудника ВНИИ физической культуры, родилась дочь Вета весом чуть более одного килограмма. Девочка была обречена. И тогда отец придумал, как ее спасти. Он из плексигласа смастерил аквариум, наполнил водой и поместил туда беспомощную кроху. Девочка ожила. Вот строки из статьи С. Власова «Как быть с жар-птицей?» («Огонек» № 33 за 1982 г.):

«Ведь это так просто объяснить: в утробе матери дитя находится во взвешенном состоянии, почти в невесомости, но вот оно появилось на свет, и тут же на него обрушивается гравитационный удар, который сковывает движения. Недаром специалисты сравнивают перегрузки при рождении человека с перегрузками космонавта, когда тот возвращается с орбиты на землю».

Под водой девочка проводила большую часть дня, свободно ныряла и научилась плавать стилем, похожим на брасс, но более совершенным, более целесообразным, видимо, данным человеку от природы. Чарковский пошел в родильные дома, в Дом ребенка и стал предлагать свой метод, но его везде встречали с большим недоверием. И все же он понимание кое-где нашел. И на 1982 год его метод был внедрен в 233 поликлиниках 53 городов стра-

ны. Теперь эта цифра, надо полагать, значительно выросла. За рубежом метод Чарковского очень популярен.

Вот что говорит ученый, доктор биологических наук П. А. Коржуев: «Исследования Чарковского пролили совершенно новый свет на неизученные возможности человека, открыли практические пути совершенствования нервной системы и мозга новорожденного».

Следует привести и мнение бывшего директора ВНИИ физкультуры и спорта профессора И. П. Ратова: «Основная суть работы Чарковского — в возможности влияния на эволюцию человека». В сентябре 1982 года в Новой Зеландии состоялась первая международная конференция по проблемам родовспоможения в воде и плавания грудных детей. На эту конференцию был приглашен основатель этого метода Игорь Борисович Чарковский.

Если кто-то внимательно смотрел фильмы, снятые Чарковским, заметил, что он перед бассейном делает странные пассы. Да, это он «колдует» — экстрасенсорно успокаивает не только детей, но и родителей. Некоторые из них в первый раз опасаются за свое дитя, не принесет ли это ему вреда. Чарковский утверждает, что страх от взрослого непременно передается ребенку и может ввести его в тяжелое стрессовое состояние.

Игорь Чарковский одержим своей идеей. Он мало обращает внимания на свою особу. Помню, когда закончилась лекция, его окружили сотрудники редакции, корреспонденты, журналисты и с полчаса к нему невозможно было пробиться. Утолив информационную жажду, все куда-то растеклись. Лишь в одном никто не удовлетворил свое любопытство, а как он будет добираться домой с громоздкой аппаратурой: кинопроектором и динамиками. А ведь наверняка у редакции есть хоть какая-нибудь захудалая машинешка. Мы вдвоем перли эту тяжесть до метро.

Неуютно у нас одержимым талантливым людям: они мало требуют для себя. Нас отучили чутью к истинному, приучили создавать себе кумиров, не гнушаясь при этом лицемерием, преклонением перед важной особой, обремененной саном государственного чиновника. Нам уйму лет вдалбливали непогрешимость

нашей печати, радио, телевидения. Отсюда сдвиг в понимании значимости того или иного явления, того или другого кумира публики. Мы имеем извращенное понятие популярности. Сколько ложных гениев открыло нам телевидение.

Осторожно надо бы признать, что экстрасенсы все же явление не совсем нормальное. На мой взгляд, все они с каким-то сдвигом. Плурализм мнений даже кликушество поднял на экспозиционные стенды как образец оригинального и жизненно важного явления.

На Руси почитали блаженных и умалишенных (боговых людей), считали, что их устами глаголет истина, что в их несвязные речи тайный смысл вкладывает сам бог. Юродивый определяется как психически ненормальный человек, блаженный, аскет-безумец или принявший вид безумца, обладающий, по мнению религиозных и суеверных людей, даром прооризации. Как правило, у таких людей своеобразная механическая память. Услышав однажды меткое замечание, поговорку, навет, а особенно какое-то житейское правило, и применив его удачно, юродивый невольно закрепляет его в памяти. А при отсутствии критического анализатора в сознании и в состоянии аффекта пользуется этим в подобной ситуации. Для окружающих его высказывания становятся неожиданными и принимаются, как иносказания в пророчестве. А он фактически стал их «магнитофоном».

Не за дальней дверью находятся и экстрасенсы, и люди, наделенные особым даром, и — да простится мне временем — гении. Известно, Шопен писал музыку на грани сумасшествия. А у нас разве не было чудаковатых: Мусоргский страдал алкоголизмом, Чайковский был патологически скромнен и стыдлив. Однажды у Петра Ильича заболело ухо. Он попросил извозчика остановиться возле лавки, купить кусочек ваты. Узнавший его купец спросил, сколько нужно знаменитому композитору ваты: пуд, два... И Чайковскому пришлось покупать огромный тюк ваты, а взяв маленький кусочек, заткнуть ухо, остальное подарить извозчику. Много странного рассказывают про Шостаковича. А про Соловьева-Седого я из первых уст слышал забавную историю. Мой

режиссер в эстрадной студии М. П. Харитонов с иронией поведаль, как его узнавал и вновь не узнавал Василий Павлович. Росли они в Ленинграде в одном дворе, естественно, вместе играли. С той поры прошло много времени. Один стал признанный композитор, другой — известный артист-чечеточник-конферансье. Начали встречаться на общих концертах. Михаил Павлович здоровался с Василием Павловичем, тот отвечал ему приветливо, но лишь как коллега. Никоним образом не связывал это с детством, с тем, что перед ним один из тех давних друзей-приятелей, кто Васю Соловьева за светлые волосы прозвал Седым, что и зацепилось дефисом за фамилию Соловьева.

Но вот как-то на одном из вечеров Василий Павлович был в хорошем подпитии. Он бросился к Харитонову, как к старому другу: «Миша, а помнишь...» Назавтра Харитонов, в надежде, что в памяти знаменитого композитора он восстановлен, подходит к тому запросто, а композитор-то смотрит на него удивленно: где же он встречал этого человека? Случись снова композитор в подпитии — и снова друзья детства. Такое-то бывает с великими чудаками. А возьмите художника Ван-Гога, царей Ивана Грозного, Петра Первого и другие неординарные личности.

Поэты сами себя стали считать боговдохновенными (одержимыми), они хвастались богатой интуицией. Как определяет Кант, объяснить это можно тем, что поэт готовит свою работу второпях и должен ловить благоприятный момент, когда его охватывает внутреннее настроение, в его воображении невольно возникают сильные образы и чувства, а сам он при этом остается как бы пассивным.

...Экстрасенсы, связанные с медициной, пытаются знахарскую практику соединить с наукой и приспособить к медицинским принципам лечения. То есть как бы создать еще одну таблетку для всех, только на почве этого целительства.

Должен сказать, что в таком случае терапевт нарушает Гиппократову клятву. Приведу скучные примеры. При лечении язвенно-желудочных болезней медицина разработала строгую диету и не рекомендует принимать острую пищу, раздражающую слизистую оболочку

желудка. Вопреки этому требованию травозная назначает что-то такое, что на первых порах вызовет обострение. Он отменяет диету и говорит, ешьте то, что просит организм, но не злоупотребляйте. Видимо, он надеется, что организм сам проявит свои защитные свойства. Он укрепляет здоровую ткань, и пограничные участки сначала стабилизируются, а после язва начинает уступать. Другой пример из практики знахарей. Больного начинает лихорадить, его пробирает дрожь, он умоляет потеплее его укрыть, придержать, чтобы не трясло, а знахарь начинает издеваться — клин клином вышибать: поднимает страдальца с постели и в лютый мороз полураздетого три раза гоняет вокруг избы или же обливает холодной водой. И наоборот — у человека жар, а его целитель тащит в баню, избивает веником.

Бывает и того лучше: змея смертельно укусила; тут бы укушенного утешить, а его «утишай» дубиной по голове, чтоб сознание потерял. Смешнее всего, что это все помогает. Человек порезал руку, кровяща хлещет, а деревенская баба берет нож и с грязной стены соскребает прямо на рану известку.

Один психотерапевт заявляет, что он пробуждает у зрителей ту двигательную силу, которая поможет вылечить им те болезни, о которых они даже не подозревают. Поэтому он говорит, вы не думайте сейчас о том, что я должен вылечить вашу печень. Потому что я могу вылечить у вас не печень, а что-нибудь другое; я просто пробуждаю в вас ту жизненную силу, которая и вылечит вас, то есть она победит вашу болезнь. То особое чувство, то «нечто». А на основе этого, как он сказал в одном интервью, и это повторили газеты, хотел бы создать такое средство, такое лекарство, которое можно давать бы всем людям, и они бы вылечились. Это опять есть не что иное, как попытка взять у природной науки метод лечения человека и превратить его в тот же тип лечения, какой предлагает официальная медицина, то есть, в уникальную таблетку от того, сего, пятого, десятого — эликсир жизни. Это очень странно — помесь какой-то средневековой схоластики и нашего бюрократического подхода. Найти лекарство, чтобы лечить всех им одним. Или какой-то прибор, как го-

ворят некоторые. Это сильно смахивает на благие намерения алхимиков. Это очень неправильно. Хотя бы потому, что в основе лечения экстрасенса лежит видение каждого отдельного человека. Когда проводится сеанс, то нужно держать его одного в себе, следить за его реакцией. Целитель как бы входит в человека. Но попытка создать таблетку, которая заменит живого лекаря, обречена на провал. Эта попытка поставить на официальную службу тех людей, которые обнаружили у себя некие способности облегчать страдания, не будет иметь успеха. Потому, что это мы уже видели и пытались... Пытались лечить таблетками плацебо — нейтральным средством, которое полностью рассчитано на обман организма, на силу самовнушения пациента. Пытались и траволечения превратить в пилюли.

Вместо тонких тибетских чаев нам предлагают брикеты трав. И в столичном кинотеатре на самом широком проспекте кооператив «Фитон» предлагает холодные ополоски трав, которые действуют только в свежем горячем виде. Это мне напомнило афганских мальчишек, которые крутят банки с дымящимися травами перед носом иностранца в надежде заработать афганий за то якобы, что они продлят жизнь гостю на один день. Травы продают в полиэтиленовых пакетах, каждое название отдельно, предоставляя клиенту возможность поступать с ними, как с кулинарными полуфабрикатами.

А на самом деле тибетский чай состоит порой из семидесяти лечебных трав в выверенных сотнями лет пропорциях. Иногда хранить и сушить вместе две травы — значит потерять их свойства. А заваривать их нужно в определенном порядке.

...Врач-экстрасенс с дипломом — он все-таки врач. Он пытается что-то взять от экстрасенса, от неправды, с его точки зрения, науки. Берет, опять же, для того, чтобы лечить тем же официальным способом. И в конце концов он выступает, как тот же обычный врач, к которому приходят очереди. А для знахаря, даже захудалого, каждый человек все равно индивидуален. Больные неповторимы. А для иного врача — просто очередь. Набрал кучу с одинаковыми симптомами — от

этого, мол, я лечу. Официальную медицину с народной медициной, со знахарством, сравнивать нельзя. Они в отношении человека принципиально разные: в видении человека. Одни видят человека, а другие — науку о человеке. Здесь обязательна коммутация — не столько разума, сколько чувств. Через сознательное целитель входит в подсознательное, а подсознательное почти не подвластно сознательному. Ибо человек не может управлять своим сердцем. Он не думает, что сердце должно биться в таком-то ритме, столько-то накачать крови, в этот орган или в тот. А остальным органам столько-то выделить в кровь такого-то вещества.

Подсознания касается и гипнотизер, который видит своих клиентов. Обязан видеть своих клиентов, притом — при свидетелях.

Мне кажется, правильно сделали те, кто решил провести эксперимент по центральному телевидению: когда-то это все равно должно было случиться. Хотя сам я не рискнул.

Еще задолго до выхода на экран Алана Чумака со своими сеансами, ко мне на квартиру в Москве приехали устроители этого первого сеанса — отважные люди — Владимир Александрович Соловьев и Василий Дмитриевич Захарченко с предложением участвовать в программе «Это вы можете».

— Мы хотим сделать передачу о нетрадиционных методах лечения, как вы к этому относитесь?

Задумку их я одобрил, хотя, думаю, мое мнение особого веса не имело, но сам участвовать отказался. Мы долго говорили о народной медицине, знахарстве, заклинаниях. Рассказал я им и о встречах у Сафонова. А когда они спросили, кого бы из москвичей я порекомендовал в эту программу — а я со многими знаком, — я сказал, что рекомендовать могу лишь того, кого видел в работе. А в работе видел только Чумака. Хотя встречался и с Джуней Давиташвили, и Юрием Горным, и Валерием Авдеевым, и с Михайловым — героем статей в «Литературке»: «Визит к экстрасенсу», «Визит экстрасенса», — и с другими.

К концу нашей беседы, а она длилась около трех часов, мы все пришли к согласию, что эта встреча на телевидении нужна. Я загорел-

ся участвовать в ней с условием, что с экрана будет заявлено — лечением я не занимаюсь. Но, проводя ментальные сеансы на сцене и экспериментируя, могу подтвердить — и проиллюстрировать, — что такое явление, как экстрасенсорное влияние, существует. Но тогда я не предполагал, что центральное телевидение рискнет проводить сеансы. Мне казалось, экстрасенсы будут влиять только в студии, а телезрители будут не участниками, а наблюдателями.

Мы договорились, если в течение трех месяцев я появлюсь в Москве, позволю кому-либо из них.

В Москву я приехал, но с Соловьевым встретиться пришлось в травматологическом отделении больницы: он попал в автомобильную катастрофу и теперь лежал с переломом ноги. Со мной были Людмила Бенсуюева Ким и Геннадий Федорович Черноусов, саратовец — человек с двумя высшими образованиями. В результате своих размышлений он пришел к богу и стал теперь неистовым верующим. Экстрасенс, костоправ. Мне пришлось не раз испытывать искусство его рук. Он так умело может расшатать ваши суставы и поставить их на место, что после этого долго ходишь бодрым и помолодевшим.

Геннадий Федорович «поработал» с Владимиром Александровичем, обследовал больную ногу, что-то там поправил. Я «работать» не стал, потому как «у семи нянек дитя без глаза».

По причине болезни Соловьева передача о нетрадиционных методах откладывалась. Я уехал, и меня «бог отвел».

После того как Алан стал притчей во языцех, я пытался дозвониться до него, но так и не смог. Говорят, у дома, где он теперь живет, собираются толпы и теперь, видимо, ему житья нет никакого. Конечно, Алан Владимирович не предполагал такой реакции со стороны телезрителей... А кто знает, быть может, сознательно шел на это. И не его нужно осуждать, а слепую толпу. И я убежден, что Чумака меньше принес вреда своим телеклиентам, ибо он действовал молча и был лишь инициатором — если так можно выразиться — раппорта. И ко-

му-то, безусловно, помог. Но, думаю, процент не очень уж оптимистичен.

...Химическая фармацевтика позволяет себе опыты над человеком. Сначала, конечно, это делается над обезьянами. И вот этот чисто научный эксперимент, он возобладает над гуманными чувствами. В самой его основе лежит некая негуманность — проба на человеке. То, чего не может себе позволить настоящий человек — экстрасенс, он выверяет на себе. Он погружается в духовный космос того, кому взялся помочь. Не разрушая личности, а исцеляя ее.

Большой экран, отданный экстрасенсу, явление новое, с огромной долей риска. Лечение же с экрана — таблетка для лентяев.

Отшибание памяти — эксперимент сомнительный. Но можно с большого экрана заставить людей голосовать за Сидорова, а не за Иванова, и мысль эту можно внушить без слов. А заявлять с экрана, что мир спасет только сильная непогрешимая личность, по меньшей мере необдуманно. Ждать прихода нового мессии, расположиться у экрана и впасть в умиротворенное состояние, быть бездейственным и думать только о своем спокойствии? А верно ли это? Не напротив ли — наше время в условиях усложнения окружающей среды требует пластичности, а главное — активности психики человека.

Неуместны и вульгаризмы, допущенные психологами. Один экспериментатор, проводивший сеансы по телевидению, заявил, что он вылечил от таких-то, от таких-то болезней, а еще он вылечил столько-то женщин от ожирения и этим внес большой вклад в экономику страны. Потому что сберек стране столько-то тонн хлеба, мяса, молока, сахара!

Нельзя к людям относиться с точки зрения экономики. Это жестокие слова, они пугают многих. Любое открытие — как бы дверь, открывающаяся в обе стороны, а не только в одну. И можно ее открыть как для пользы человеку, так и во вред. Многие ставили перед собой глобальные цели, и они никогда не были достигнуты. Вылечить всех людей и сделать их счастливыми, это невозможно. И это пахнет шарлатанством. И это страшно.

Но тот же целитель признался, что улыбаться

он будет, когда вылечит всех. Вот это уже смешно — потому-то и не страшно. Природа не допускает глупостей в таких масштабах. Для Земли малиновое времечко уже не светится, и об этом — кулаки ко лбу.

Даже религия не берется за это: она говорит, что люди должны за что-то страдать. А тут, видите ли, эликсир счастья. Заявивший такое, явно человек, не умеющий себя контролировать, он сомневается и пытается доказать это самому себе прилюдно.

Большой риск заявлять: идите завтра и подставляйте свое чрево под скальпель, я вам (как бог) помогу, хотя и вовсе вас не знаю. Здесь человек допускает большую переоценку своих возможностей. Честнее было бы заявить: вот видите, что может сам человек, когда он поверит в свои возможности. А это не иначе как подавление воли, подчинение, когда больной решается без наркоза во имя чего-то тщеславия, якобы во имя науки идти на риск. На миру и смерть красна.

Ведь для широкой публики не было объявлено, что операция без наркоза на расстоянии проводилась с женщинами, которые ранее были пациентами того психотерапевта. А что до расстояния, то это не имеет значения — за тысячи верст или из соседней комнаты. Некоторые гипнотизеры практиковали записки. Напишет: «Спать!» — и человек погружался в транс.

Эти строки я пишу не потому, что против подобных экспериментов по телевидению. Но любой эксперимент должен оцениваться со стороны. Безусловно, такие сеансы кому-то помогают, а кому-то вредят. И не мешало бы поглубже заняться исследованиями именно тех, кому эти сеансы пошли во вред. А они обязательно есть. Потому что психотерапевт прибегает не только к внушению, но и к убеждению. А высказывания обид на своих оппонентов просто-напросто вредят сеансам. Я понимаю, это дело новое и, наверно, перспективное, вот почему прежде всего нужно было высказать сомнение.

«Он обрел возможность творить любое чудо. Каждый из магов имеет свой предел. Некоторые не способны вывести растительности на ушах. Другие владеют обобщенным зако-

ном Ломоносова-Лавуазье. Третьи — их совсем немного — могут, скажем, останавливать время, но только в римановском пространстве и ненадолго. Савваоф Баалович был всемогущ. Он мог все. И ничего не мог. Потому что Граничным условием уравнивания совершенства оказалось требование, чтобы чудо не причиняло никому вреда. Никакому разумному существу. Ни на Земле, ни в иной части Вселенной. А такого чуда никто, даже сам Савваоф Баалович, представить себе не мог...

А. и Б. Стругацкие

Я привел эту выдержку из их книги «Понедельник начинается в субботу» для того, чтобы еще раз заострить внимание, как это переключается с «не навреди» — врачебной заповедью.

А теперь вторая сторона медали. Психотерапевты для нашей страны дело новое. А психогигиена и психотерапевтика самой официальной медициной еще совсем недавно почти отвергались. Они оставались как бы меж двух огней — между соматической терапией и парапсихологией. Между медициной и целительством.

Еще в 1930 году вышла потрясающая по своей убедительности книга К. К. Платонова «Слово как физиологический и лечебный фактор». Эта монография выдержала несколько изданий. И теперь не потеряла своего важного значения. Уже название говорит само за себя, и «фактором» этим пренебрегать невозможно, а это не что иное, как безлекарственное исцеление, чем пользовались шаманы и колдуны всех времен.

Одно только жаль, что не во всем наш знаменитый соотечественник был беспристрастен. Он, например, критикует без всяких снисхождений открытие австрийского врача-психоаналитика Зигмунда Фрейда, а из И. П. Павлова создает непогрешимого кумира. Получается, «наши» во всем правы, а «те» ни в чем. Теперь же и наша официальная наука признает, что бессознательное в человеке так же реально, как и сознательное, и что психоанализ —

это не лженаука. И не только мы умные, но и в других странах не без дураков и не без умных. Ведь в области психоанализа работали и наши замечательные психологи и психиатры, такие, как А. Р. Дурия, Л. С. Выготский, М. Ф. Вульф, В. А. Белоусов, И. Д. Ермаков и другие. Но после той трижды памятной сессии ВАСХНИЛ, где громили генетику как псевдонауку и помели помелом кибернетику, смели и психоанализ. Существовавший в системе Наркомпроса Государственный психоаналитический институт был уничтожен. «Почему же первым делом расправились с психоанализом?» — вопрошает профессор А. Белкин через «Литературную газету». И отвечает: — Думаю, что причина — в самой структуре тоталитарной системы, которая несовместима с вниманием к человеку, его свободой и достоинством». Дальше он же пишет: «Их пугало, что полный контроль над мыслями человека и его поступками невозможен, что воспитание не всесильно, ибо у человека есть нечто такое, что изначально неподвластно даже ему самому. Это нечто — бессознательная сфера психики человека. Она недоступна влиянию извне, и никакая идеология не может полностью подчинить ее себе». И вот с 1926 года наша наука о психоанализе воды в рот набрала.

...Скажите, а вот бабки, которые исцеляли от всяких недугов, какое имели понятие о физиологии, анатомии, невропатологии, психиатрии?.. Разве они представляли, скажем, какая печень у человека? Хочу быть правильно понятым — я не за мракобесие, мол, давайте забудем анатомию, физиотерапию и все прочее. Нет, я к тому, что медицина и знахарство вещи разные, они не для сравнения — для сопоставления и взаимопонимания.

Разумеется, пытаться создать некий конгломерат из медицины и знахарства — дело современное, но бесперспективное. Это все одно что умеющего заставить неуметь.

Итак, двери открываются в обе стороны. Причем, эти двери не прозрачные. И, подходя к ним, не нужно спешить, а то есть возможность расшибить друг дружке лоб.

В КНИГЕ ЖИЗНИ— ПОСЛАНИЕ ИЗ КОСМОСА?

Алма-атинский ученый Владимир Щербак
обнаружил уникальные симметрии
в универсальном генетическом коде.

По его предположению, они доказывают
вмешательство разума в возникновение жизни на Земле

«...И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему...».

Перед вами — наиболее распространенная в веках версия происхождения жизни на Земле. Не могу назвать точно момент, когда она перестала устраивать естествоиспытателей. Постепенно стали появляться и другие версии... Однако давайте прервемся и послушаем самих что ни на есть случайных людей, которым задавался один и тот же простенький вопрос: «Как возникла жизнь на нашей планете?»

— О! Как раз недавно я читала! Жизнь произошла от инопланетян. Они и сейчас среди нас живут. На вид — люди людьми. А что инопланетяне — и сами не догадываются. — *Ольга И., педагог.*

— Не знаю. Никогда не задумывался. Ну как-то так, сама собой... — *Александр А., математик.*

— Жизнь всегда была. — *Саша Д., ребенок.*

— Ну есть там теории, что из каких-то капель, в луже. (*Грустно*). Но мне не хотелось бы думать, что это действительно так. Больно уж недостойно человека... — *Жана Ж., театровед.*

Мне нравилось наблюдать за выражением лиц опрашиваемых. Сначала тягостное недоумение. Потом проблески интереса. А дальше — ну просто залюбуешься: ни следа хмурой оза-

боченности и будничной стертости лиц. Люди начинали, что называется, «думать о вечном». Проблемы мыла со стиральным порошком, болезней, безденежья и просто унылых каждодневных неприятностей растворялись в бесконечности пространства и времени...

Да, так что же наука? Спешу сообщить, что окончательного ответа на этот вопрос нет до сих пор. Более того, не существует даже точного определения, что же такое жизнь...

И все же давайте пробежим по существующим на сегодня теориям. Они исходят из вроде бы здравого принципа под названием «лезвие Оккама»: чем проще объяснение, тем вероятнее, что оно истинно. Ну а критерием простоты является минимум предположений. По этому принципу такой путь, как вмешательство сверхъестественных сил, считается вообще ненаучным. Несколько лучше отношение к гипотезе панспермии, предложенной в начале века шведским химиком Аррениусом. Название «панспермия» в свободном переводе означает «зародыши повсеместно». Аррениус предположил, что по всей Вселенной рассеяны зародыши жизни, способные оплодотворить любой мир, в котором условия оказались пригодными. На предмет этих зародышей изучаются сухие споры (они переносятся в космосе от звезды к звезде световым давлением, словно ветром), звездная пыль, метеориты. Однако ничего существенного найдено не было. Потом эту теорию несколько модернизировали

Френсис Крик и Лесли Оргел: некий интеллект рассеивает жизнь в космосе с помощью зондов. Это уже называется направленной панспермией.

Наиболее же убедительной большинство ученых считает возникшую в 20-х годах теорию А. И. Опарина: зарождение жизни в водах Мирового океана на базе «самосборки». Грозным было младенчество нашей планеты: в ее метановой атмосфере постоянно сверкали молнии, раздавались душераздирающие громовые раскаты. И вот все эти бурные экспессы вкупе с какими-нибудь извержениями вулканов в один прекрасный момент так совпали, что все это роковым образом подействовало на неорганику юной Земли. Появились агрегаты белковых молекул, коацерватные капли, — кирпичики жизни. Они постепенно эволюционировали и превратились в примитивных одноклеточных.

Кроме того, что и эта гипотеза не обрела еще достаточно веских доказательств, мне она представляется лишенной обаяния хотя бы потому, что выходит, будто земная жизнь — чистая случайность. И в то же время вроде бы утверждается уникальность и единственность земной цивилизации. А ведь за идею множественности обитаемых миров Джордано Бруно когда-то жизнью расплатился...

Да, в последние годы вопрос о происхождении жизни на Земле стал еще более остро, потому что, возможно, именно тут начало пути к установлению контактов с внеземными цивилизациями. И как же велик соблазн поскорее покончить с этой нашей земной, микроскопической в масштабах космоса проблемой. Однако есть такая древняя китайская поговорка: «Если ты очень ждешь своего друга, не принимай стук своего сердца за топот копыт его коня...».

Почему я все чаще прокручиваю в голове все это и иногда горько жалею, что не занялась в свое время, к примеру, молекулярной биологией? Почему у меня на столе учебники генетики вперемежку с книжками о Вселенной? Дебри науки обживаются с удивительной простотой, и чувствуешь себя своим на этом празднике жизни нуклеотидов, хромосом и всяческих аминокислот... Просто вот так за-

разительна бывает научная мысль, когда ее стержень — великодушная отвага истинного романтика, светлое озорство художника, а форма — неумолимая логика ученого.

С помощью этого длинного предисловия я попыталась представить читателям область исследований алма-атинского ученого Владимира Щербака. Он работает в лаборатории математического моделирования физфака КазГУ «средним», по его словам, научным сотрудником. Где-то на водоразделе между младшим и старшим. А еще он — художник, карикатурист по преимуществу, член клуба «Черным по белому».

Этот факт необходимо учесть, когда речь пойдет об открытии, сделанном Щербаком уже около трех лет назад. А в тот ноябрьский день ему, ошалевшему от неожиданного решения, было жарко, из-под куртки пар валил (в буквальном смысле слова): код раскололся! Ну, а суть его открытия можно изложить в одном коротеньком предложении: «Происхождение жизни — это артефакт». Остается только открыть энциклопедию и прочесть то, что в скобках: «от латинского артефактум — искусственно сделанное». Однако что стоит за этой формулировкой?

— Представьте себе такую ситуацию. Перед вами картина, скажем, Ван Гога. — «Пейзаж с огородами». Вы любуетесь гармонией ее композиции, видите домик и стог сена, деревья и небо — законченный образ, который вас волнует и трогает. Но при этом не знаете, что существуют художники, и сам процесс живописи вам неизвестен. Вам задается вопрос: каковы же были причины возникновения этого образа?

— И я, в принципе, не знаю, что можно писать кистью и маслом?

— Именно так. Вы начинаете исследовать химический состав красок: соли металлов, конопляное масло, а может быть, займетесь изучением сложного переплетения холста. И очень скоро убедитесь, что путь этот — тупиковый. Есть только один ответ: у этого образа, у этой картины был конкретный создатель. «Пейзаж с огородами» — артефакт. Деяние

человеческих рук при участии интеллекта. Неизбежно приходишь к такому же выводу, когда обнаруживаешь удивительные по своей гармонии и красоте построения в универсальном для всего живого генетическом коде.

— Гены выстроились в живописную композицию?

— Не совсем так. У генетического кода есть мощная, почти прямая аналогия — алфавит. Вы никогда не задумывались, как он возник?

— Если брать кириллицу, то где-то в голове, вернее, в головах у братьев Кирилла и Мефодия...

— А как получилось, что, допустим, звук «ы» нашел свое графическое воплощение в букве «ы»? Если насчет «о» можно найти аналогию в форме губ, то насчет остальных графических знаков это сомнительно. Словом, определенным буквам присваивались определенные звуки произвольно. В генетическом же алфавите тоже есть свое соответствие: «буквам» — кодонам — соответствуют «звуки» — аминокислоты. Причем выбор, как выяснилось, так же произволен. Я попытался найти неизвестные правила чтения для этого алфавита.

— А что вообще можно записывать с помощью этого генетического алфавита?

— «Тексты» — это гены. Весь их набор — геном — состоит из приблизительно миллиарда букв-кодонов. Но прочитан геном лишь частично.

— А возможно узнать тексты полностью?

— В США, Западной Европе и Японии запущена грандиозная программа «Геном человека», которая по своим финансовым затратам и размаху сравнима с программой «Аполлон» по высадке космонавтов на лунную поверхность, а может, ее и превосходит. Намечены подобные исследования и в нашей стране. Их цель — как бы побуквенно прочесть все тексты генома человеческого организма, определить последовательность всех букв. Программа рассчитана на 10—15 лет. Полученная цепочка кодонов заполнит «книгу жизни» объемом в миллион страниц (если на каждой странице будет тысяча кодонов). Только тогда моя гипотеза сможет найти окончательные доказательства. Пока есть только косвенные, предварительные.

— А почему вообще вы занялись изучением генетического кода?

— Меня захватил вопрос происхождения жизни. А в последние годы ученым удалось свести его к вопросу о происхождении генетического кода. Круг поиска сузился. Последователи учения Опарина, когда дело дошло до молекулярных глубин, должны были бы озадачиться, потому что открылись столь изящные информационные структуры, которые никоим образом не указывают на случайность своего происхождения. При этом не видно и какого-либо следа эволюционного совершенствования молекулярных структур живой клетки.

— Почему же все-таки до сих пор у теории Опарина столько приверженцев?

— Потому что ничего другого нет. Хотя наука утверждает, что никогда не занимается тем, что достоверно не установлено, тем не менее, есть области, где она закрывает на это глаза. Наука о происхождении жизни тому пример. Здесь пока ничего достоверно не установлено, но рассказ о том, как самопроизвольно возникла жизнь, стал столь часто повторяемым, что превратился в свое собственное доказательство. Известно, что многократное повторение одного и того же тезиса укладывается в мозгах людей, которые даже, возможно, первоначально его отвергли бы. Меня же эта теория корбила. Она напоминает утверждения Парацельса: для того, чтобы самозародилась жизнь, нужно взять сосуд, насыпать туда овса, положить рубаху, но обязательно потную, чтобы «энзимы» были, и поставить эту «установку» в теплый угол. Через 21 день там появятся мыши — половозрелые самцы и самки... На мой взгляд «рассказ» Опарина не менее нелеп. Это самозарождение по Парацельсу, только на молекулярном уровне.

— И вы бросили ему вызов?

— В известной мере я вступил в полемику с людьми, объясняющими происхождение жизни физико-химическими процессами. Никто из них пока не смог опровергнуть мою теорию, вернее, найти физико-химические причины для возникновения обнаруженных мною симметрий в генетическом коде.

— Так что же вы нашли — новое правило чтения или симметрию?

— Давайте по порядку. Дело в том, что генетический код — настолько формальная знаковая система, что ею можно заниматься, не углубляясь в биологию, ища разнообразные закономерности. И вот я вертел его так и эдак... Вы уже знаете, что у генетического кода — два компонента: кодоны и аминокислоты. В отношении последних я проделал довольно нелепую с точки зрения химии операцию: суммировал у каждой молекулы аминокислоты число протонов и нейтронов из каждого атома и расставил полученные числа по порядку, например, их возрастания.

— А почему эта операция нелепая?

— Потому что как бы лишает аминокислоту химической индивидуальности. Зато это число постоянное и надежное, не подверженное влияниям среды. В полученном ряду аминокислот и кодонов просвечивала некоторая закономерность, но хиленькая такая, ломаная... Но все же она не давала мне покоя. Потом я проделал еще одну простую операцию. Каждой аминокислоте соответствует определенное число кодонов. Я объединил кислоты в группы по этому признаку, а уж внутри групп расставил по количеству протонов и нейтронов. И вот тут-то начались чудеса... В полученной мною закономерности обнаружилась фантастическая красота. Вы знаете, что такое палиндром?

— Это когда фразу можно прочесть и так, и задом наперед, типа «А роза упала на лапу Азора»?

— Вот-вот. Или «Огонь — лоб больного». В виде палиндромов и других видов строжайшей симметрии и расставились буквы-кодона. Глубоко изучив и проанализировав построения, я убедился, что передо мной — артефакт, деяние некоего интеллекта. И, судя по всему, автор этого артефакта — некто сходный с нами по своей психике. Я увидел, что мне даны конкретные подсказки, кто-то очень хотел, чтобы я его понял. Итак, открылся новый уровень информации внутри генетического кода.

— Но, может, это случайное совпадение? К тому же симметрии характерны для живой

природы и, возможно, возникли естественным путем?

— Было бы очень удивительно, если бы человек купил набор гирек, выкрашенных в разные цвета, расставил их по возрастанию веса и обнаружил бы центральную цветовую симметрию. Связь цвета с весом... Чертовщина какая-то! Значит, кто-то заранее раскрасил гирьки, предвидя такие системные действия со стороны человека. Всей истории существования Вселенной не хватило бы, чтобы природа случайно, перебором создала эти удивительные симметрии. А вмешательство интеллекта дает единственное объяснение. Кроме того, мне стало ясно, что найденный артефакт — информационный, несущий некое сообщение. Ту часть сообщения, что находится в генетическом коде, мне удалось достаточно удовлетворительно «прочесть» и понять. Она направляет исследователя в тексты генома. Там расположен, по-видимому, главный информационный массив.

— Сообщение — о чем?

— Я думаю, что в этом «послании» содержится ответ на вопрос: «Кто мы? Откуда? Куда идем?»

— То есть, получается, что тайна возникновения жизни заключена внутри нас?

— Кажется, так. Венгерский ученый Георг Маркс, например, считает, что существует лишь одно место, где разумное послание из глубин Вселенной может обладать совершенной защитой против разрушений, эффективно действующей во времени. И действительно, за те 3—4 миллиарда лет, что существует жизнь на Земле, структура генетического кода не претерпела никаких изменений. Какие-нибудь Первые Люди Галактики могли искусственно создать молекулу ДНК, добавить биологически неактивные сегменты с «письмом» и внутри микроорганизма-посланца отправить на нашу планету. Рассчитывая на то, что мы дойдем до такого уровня прогресса, что сможем узнать когда-нибудь тайну своей жизни...

— Выходит, что мы — что-то вроде биороботов? Признаюсь, от этой мысли становится жутковато...

— Но почему? Вы же не впадаете в отчаяние, зная, кто ваши отец и мать. Мне кажется,

что это знание необыкновенно обогатит нас, ведь по существу сейчас все мы — безродные...

— А что все-таки послужило импульсом к открытию? Красота?

— Красота и гармония действительно дали первый толчок. Потом было строго научное исследование, оно не закончено и сейчас. Ну а вообще... Американский физик Ричард Фейнман, нобелевский лауреат, неумолимый шутник, говорил так: «Новые физические законы просто угадывают».

— Да, самое главное, когда же мы прочтем это послание?

— Когда будет завершен проект «Геном человека» и нам станет известен весь линейный текст из кодонов. Ну, а в ближайшем будущем я попытаюсь заинтересовать биохимиков провести эксперимент, в ходе которого станет понятно, правильно ли я определил место, где записан текст.

— Вы мне немного напоминаете комиссара Каттани из «Спрута», который завладел уникальной дискетой и теперь ждет полного набора букв для расшифровки... А что говорят о вашем открытии в научных кругах?

— Недавно я принял участие в конференции Международной ассоциации по изучению происхождения жизни «ИССОЛ-89» в Праге. Я выступил со своим скромным стендом № 84 «Генетический код как информационный артефакт». Мои данные были весьма неожиданными, а я сам — неопитом в этой области науки. Однако были и заинтересованные, и озадаченные. Американский ученый доктор Джеймс Лэсси сказал, что не видит никакой логической базы для физико-химического объяснения симметрий, которые «просто очаровали» его. Недавно я получил письмо-ответ от другого участника конференции — доктора Лесли Оргела из Калифорнии. Он, как и доктор Лэсси, затрудняется предложить какую-либо «естественную» интерпретацию найденным структурам, но в то же время не допускает их случайного происхождения. Вообще, после публикации статьи в английском журнале «Теорети-

ческая биология» я получаю обширную корреспонденцию со всего мира.

— Допустим, что прошло 5—10 лет и мы прочли это самое послание. Что дальше?

— Возможно, тот информационный канал, через который поступил на Землю текст, действует и сейчас. Тогда мы можем выйти просто на безбрежное море информации. Может быть, интеллектуальный Космос и молчит до сих пор потому, что мы пользуемся «медленным» и неудобным радиоканалом? Словом, не исключено, что мы покончим наконец с нашим одиночеством во Вселенной. Надеюсь, сможем решать и наши чисто земные задачи, достаточно фантастические.

В январе нынешнего года в Национальном институте здоровья в США известный молекулярный биолог Нортон Циндер сел за овальный стол для совещаний и стукнул по нему молоточком, призывая собравшихся к порядку. В установившейся тишине торжественно звучали слова:

— Сегодня мы начинаем. Мы приступаем к не имеющему конца исследованию биологии человека. Когда бы его ни проводить, это всегда будет авантюрой, тщетной попыткой. И когда оно будет закончено, кто-нибудь другой сядет в это кресло и скажет: «Пора начинать...»

Таким вот оптимистическим вступлением был дан старт уникального исследования «Геном человека». За этой работой будут напряженно следить многие ученые, питая головокружительные надежды. В том числе и наш сегодняшний собеседник Владимир Щербак. Возможно, именно в его руках тайна тайн книги жизни. Меня, например, он убедил. Как ученый. Как художник, который верит, что красота не только спасет, но и объяснит нам этот мир. Иначе зачем она нужна? И что есть — красота?..

Вела беседу **Е. ОСТРОВСКАЯ**
(Горизонт, 1989. № 40.)

р-
ны
л,
й-
о-
ет
до
н-
не
м
ем
ч-
ом
е-
ь-
му
д-
но
к
и
е-
И
ой
...»
л
ом
но
и-
д-
з-
ги
е-
а-
от
—

я
(.)



В. В. Громов. «В Андреевку». х., м., 1952.



50 K.

20

